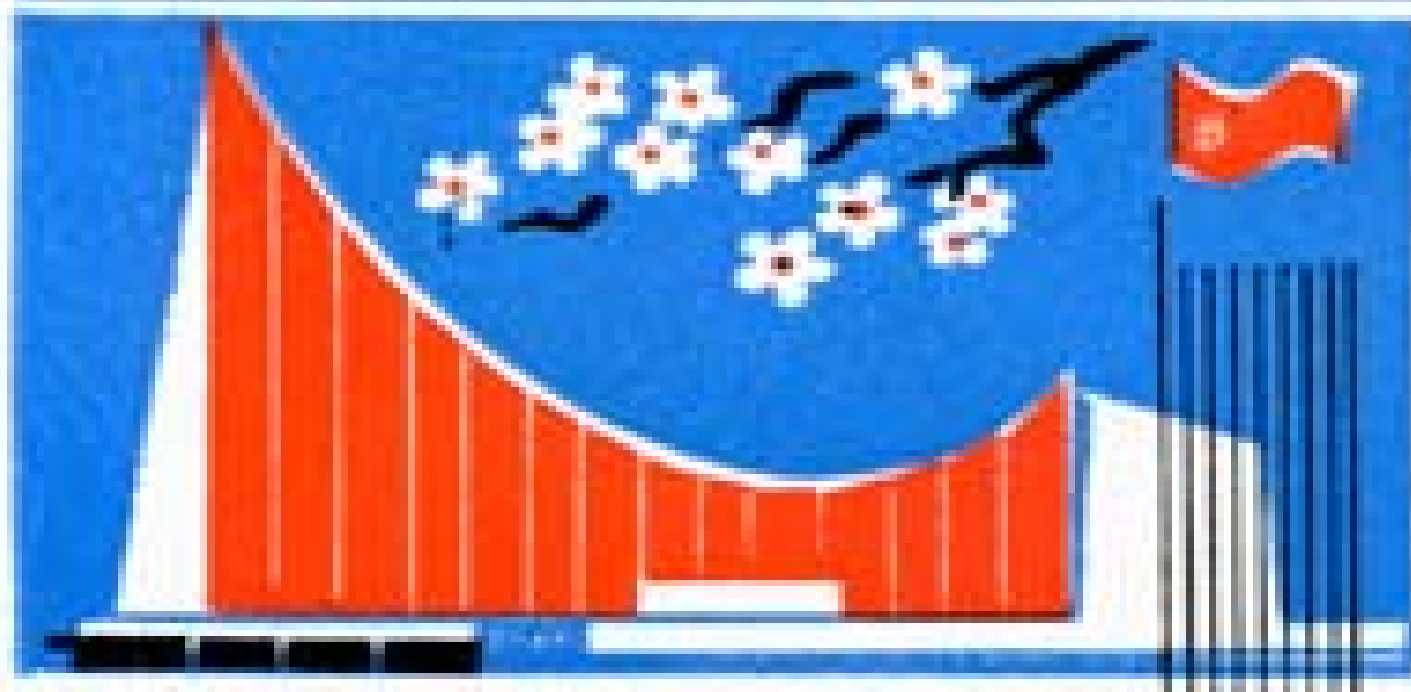




П Р Т Е Ш Е С Т В И Я  
В С Т Р А Н А М  
В О С Т О К А

А.И.Мамонов

# ВСТРЕЧИ НА БЕРЕГАХ ЁДОГАВЫ



## Annotation

В очерках и эссе, собранных в этой книге, отражены впечатления автора от неоднократного пребывания в Японии, в том числе на ЭКСПО-70, от многочисленных встреч с японскими поэтами, писателями, деятелями культуры, происходившими в разное время в Японии и в Москве.

---

- [Анатолий Мамонов](#)
  - [От автора](#)
  - [Большой холм](#)
  - [«Гнездо искусства»](#)
  - [Школа талантов](#)
  - [«Вперед, только вперед!»](#)
  - [Кто правит миром?](#)
  - [Официант-писатель](#)
  - [Там, где зарождаются тайфуны](#)
  - [«Почти Басё!»](#)
  - [«Красная сосна» из Кобэ](#)
  - [Хайку, сочиненное в России](#)
  - [Башня, ведущая в небо](#)
  - [С медведями — в медвежий край](#)
  - [Японский Есенин](#)
  - [«Русское поле...»](#)
  - [«Брат мой Назым!..»](#)
  - [Журавлиные перья любви](#)
  - [Взлет волны хокусаи](#)
  - [Камикадзэ, ставший марксистом](#)
  - [«Мир изменился!»](#)
  - [Под веткой сакуры](#)
  - [Из поэтического дневника](#)
    - [ГЭМБАКУ-ТОСИ](#)
    - [ШИРОКИЙ ОСТРОВ](#)

- ФОНТАН ПАМЯТИ ЖЕРТВ АТОМНОЙ БОМБЫ
- ЯПОНСКАЯ ЗИМА 1974 ГОДА

- - notes
    - 1
    - 2
    - 3
    - 4
    - 5
    - 6
    - 7
    - 8
    - 9
-

**Анатолий Мамонов**  
**Встречи на берегах Ёдогавы**

## От автора

В Японии я бывал не раз, жил в разных городах, встречался с разными людьми. Свои впечатления, впечатления переводчика японской поэзии, я заносил в блокнот. Когда я его листаю, оживают встречи на берегах Ёдогавы, поэтический мир, который мне довелось узнать...

Встречи продолжались и здесь, в Москве. А начались они задолго до того, как я впервые приехал в Японию. Поэтому для меня словно вышла из берегов Ёдогава, и где-то рядом в шуме бегущей воды я различаю знакомые голоса друзей...

## Большой холм

Восемьдесят процентов территории Японии — горы, и нет пространства, свободного от застройки, шириной более чем в два километра. На сверхскоростном экспрессе «Хикари», что в переводе означает «Луч», можно буквально «прилететь» в Осака из Токио, за каких-нибудь три часа покрыв расстояние, почти равное пути от Москвы до Ленинграда.

Осака — второй по величине город Японии: в нем около семи миллионов жителей. «Венеция Востока», или «Город воды и мостов», — так говорят об Осака. И пусть не видно гондол — есть каналы и тысяча пятьсот мостов над мутно-зелеными зеркалами водных артерий. Стоит Осака, или по-русски Большой холм, у морского залива на многочисленных рукавах Ёдогавы, вытекающей из Бива — самого большого озера страны. Река названа так в честь «благородной Ёдо», супруги могущественного властителя Тоётоми Хидэёси <sup>[1]</sup>, который в конце XVI в. объединил раздробленную Японию и перенес на берега Ёдогавы центр военно-феодального государства.

Сегодня Осака — второе сердце Японии, важнейший торгово-промышленный центр страны. Это очень своеобразный город. Здесь даже суси, популярное блюдо из сырой рыбы и риса, «не такое, как всюду» (если верить рекламному проспекту). Старинная японская поговорка гласит, что токиец готов разориться ради одежды, а житель Осака — ради еды. И еще говорят: «Нагасаки ест больше всех, а Осака — лучше всех».

Многим знаменит этот «венецианский» город, гордящийся тем, что еще в IV в. был императорской столицей. Достопримечательности привлекают сюда

толпы туристов. И древнейший буддийский храм «Ситэннодзи», основанный принцем Сётоку в 587 г.; и пятиярусный Осацкий замок, воздвигнутый Тоётоми Хидэёси и впервые сооруженный целиком из камня, а вокруг замка огромный вал из каменных глыб (поверхность одной из них — восемьдесят два квадратных метра, а вес — пятьсот двадцать тонн); и знаменитый Бунраку — театр марионеток, который зародился именно здесь два века назад; и «чудо техники» — завод компании «Мацусита дэнки», где занято шестьдесят тысяч человек, а с конвейера сходят транзисторы, телевизоры, электроприборы... Но в Осака страшны трущобы: дешев и тяжел труд рабочего. Городу не хватает жилых домов, большинство квартир лишены всяких удобств, каналы зловонны, а небо скрыто непроницаемой завесой смога...

Разноречивые чувства вызвал во мне этот город. Он превзошел все, что я знал о нем понаслышке. Мои первые впечатления — в чем-то обманчивые, в чем-то бесспорные — вылились в строки, написанные на берегах Едогавы:

## **ВЕНЕЦИЯ ВОСТОКА**

Осака — Венеция Востока  
Или холм, вознесшийся высоко.  
Осака — ворота красоты,  
Лоска, блеска, тусклой пустоты.  
Великан, что чуть ли не по пояс  
В землю врос, неумолимо строясь.  
Здесь под небом, словно тушь, пестрят  
Синей кровью вены автострад.  
Здесь дома в венецианском стиле:  
В тесноте, на крошечном настиле,  
Тщетно хлещут жидкий люминал,  
Свесив ноги голые в канал.

Здесь, на прочность пробуя антенны,  
Сохнут тряпки, колотятся о стены.  
Здесь дворцы, которым нет цепи,  
И творцы, чьи дни уценены.  
Задыхаясь в копоты и гари,  
В вареве реклам, в подземном баре,  
В закорючках, строчках и крючках,  
С бельмами неона на зрачках,  
Делатель заводов и сетей,  
Виски «Сантори» и крема «Тори»,  
Осака — громадный крематорий,  
Медленно сжигающий людей...

*Осака, 1966 г.*



## «Гнездо искусства»

Говорят, в Японии каждый второй пишет стихи. Пусть это преувеличение. Но в стране, где уже в X в. была учреждена Академия поэзии, ныне только журналов, объединяющих приверженцев танка и хайку, издается свыше трехсот!

Каждый второй японец — поэт... Но как-то в праздничный День культуры я прочитал в одной японской газете, что литература и искусство Японии отстают от научно-технического уровня страны. Если в этих словах есть доля истины, то причина — не в недостатке талантов...

Мир современной японской поэзии богат и многогранен. Множество школ и направлений уживаются на японском Парнасе, прославленном гениями древности Хитомаро и Нарихира, поэтами средневековья Басё и Бусоном, и уже в XX в. — зачинателем реалистической поэзии Исикава Такубоку и отцом японского символизма Хагивара Сакутаро. Есть поэты, прошедшие суровую школу классовых битв 20-х и 30-х годов: Канэко Мицухару, Оно Тосабуро, Цубои Сигэдзи. Есть поэты, такие, как Фукагава Мунэтоси из Хиросимы, которые пишут о прошлом, чтобы атомная трагедия не повторилась в будущем. Есть и поэты отчаяния, и поэты, хранящие традицию: «Прекрасное всегда печально, а печальное всегда прекрасно».

Одни витают в облаках, другие борются за жизнь, за лучшее будущее для человека — кто в Токио, кто на берегах Ёдогавы, где родились всемирно известные поэт Мацуо Басё, писатель Ихара Сайкаку и драматург Тикамацу Мондзаэмон — «японский Шекспир».

...Узенькая, в разноцветных вечерних огнях, оживленная улочка Эбисубаси когда-то называлась

Сибайура, что значит Театральные задворки. Здесь исстари находятся пять театров. Но я пришел сюда, чтобы взглянуть на двухэтажный домик у одного из перекрестков. В нем в 1903 г. родился один из известных поэтов современной Японии, Оно Тосабуро.

Невольно замедляю шаги... Свет в окнах не горит, и здание кажется мрачным, необитаемым. Старинное строение безмолвно. Но я знаю: когда-нибудь оно заговорит — иероглифами врубленной в стену мемориальной доски. Японским читателям широко известны сборники стихов Оно Тосабуро — «Осака», «Пейзажи», «На берегу океана», «Оскверненная Фудзи», «Путешествие по вертикали». Высоким мастерством отмечены и книги поэта, посвященные теории стихосложения: «Поэзия и творчество», «Заметки о современной поэзии», «Введение в современную поэзию». В дни его пятидесятилетия о нем восторженно писали: «Нашего любимого народного поэта... можно назвать поэтом мирового масштаба».

Впервые я встретился с Оно Тосабуро на вечере литераторов Осака и советских переводчиков в местном Дворце культуры. Я прочитал тогда свой перевод его антивоенного стихотворения «Мания коллекционирования новых слов». Потом эти стихи прозвучали по-японски в исполнении автора...

И вот он идет рядом со мной, захваченный людским потоком, и с жаром рассказывает о родном городе, о его достопримечательностях, об улицах, где он жил, где прошла его юность...

Когда-то во времена «бакуфу» — военно-феодалного правления — здесь в районе Сэннитимаэ не было обжигаемых светом реклам домов и домиков — разноэтажного скопища камня, стекла и металла. Эти места прославились массовыми казнями непокорных режиму, совершавшимися по приказу сёгунов, узурпировавших много веков назад власть императора.

В одной из улочек мы забрели в уголок, поразивший меня экзотикой и поэтичностью.

Еще издалека заметна толпа, а над ней клубы дыма. Там, за пиджаками и кимоно, маленький храм-святилище, едва различимый в уличном полумраке. Перед входом — курильница. А чуть в стороне от шумной толпы прохожих — почерневший от прожитых лет, поросший зеленоватым мхом невозмутимый каменный будда Мидзукакэфудо. Он скрывается в полутьме от любопытных взглядов туристов, окутанный ароматом курительных палочек, но Оно-сэнсэй<sup>[2]</sup> подводит меня к нему и рассказывает о его чудесной силе.

Стоит зажечь курительную палочку и окурить себя священным дымом, как душа тотчас очистится от скверны. Но это еще не все. Во имя счастья, удачи, здоровья, во исполнение любого желания нужно лишь набрать ковшом воды из сосуда, стоящего перед божеством, и плеснуть в будду, которого жжет вечный огонь. За это будда непременно отблагодарит.

Чинной тишины, свойственной святым местам, здесь нет. Паломники — молодежь — веселятся.

— Пусть мой муж будет красивым! — смеется незнакомка и гонит ладонью дым на своего супруга.

Но есть серьезные лица: благоговейно сложив ладони, молится девочка лет четырнадцати. Закончив молитву, замечает нас и смущенно улыбается.

— Чего вы ждете от будды, если не секрет? — спрашиваю я у нее.

— Хочу, чтобы мама с папой были счастливы, — грустно отвечает девочка.

— Видно, не ладят в семье, — поясняет мне Оно-сэнсэй. — Обычно школьники желают одного: успешно сдать экзамены.

— Кстати, — добавляет профессор, — мы почти у цели. — И в голосе его звучит обнадеживающая нота.

Вот и салон «Руру», литературная Мекка местных поэтов, прозаиков, живописцев. У салона есть и другое, неофициальное название: «Гнездо искусства».

Хозяйка и ее взрослая дочь — обе в красивых кимоно — словно родных, встречают профессора и его спутников. Шумно рассаживается молодежь. «Мне дороги эти места...» — читаю в улыбке сидящего рядом со мной Оно Тосабуро. Это любимое его кафе, здесь он всегда желанный гость.

Изнутри «Руру» — узкая длинная коробка. Если вытянуть руки, упрешься в стену, выложенную камнем. Кругом керамика, современная живопись. Все это — плод фантазии скульптора Асано Мофу, который в 30-е годы вместе с поэтом Оно участвовал в движении за пролетарское искусство и поэзию.

Какой же разговор о поэзии может обойтись без пива, столь популярного в Японии? Так считает хозяйка. И гости разделяют ее мнение. Крепкие напитки здесь не в почете: их заменяют пиво или сакэ — рисовая водка градусов восемнадцати, которую чаще пьют в подогретом виде.

Кроме Оно Тосабуро сюда пришли преподаватели возглавляемой им Осакиской литературной школы, поэтессы Минатоно Киёко и Фукунака Томоко, поэты Иноуэ Тосио, Акамацу Токудзи, Курахаси Кэнъити, критик Мацуока Акихиро и будущий писатель Хино Нориюки...

— Реализм — это выражение отрицания действительности или возможность видеть сквозь эту действительность будущее, — разъясняет свою позицию Оно Тосабуро. — Это проникновение в жизнь и ее отражение, отражение, но не фотокопия... Дать почувствовать аромат жизни, живой, красочной, как букеты цветов, — вот что значит быть реалистом.

Оно Тосабуро пишет свободным стихом. Эту форму поэзии предпочитают многие поэты современной Японии. В произведениях, написанных свободным стихом, нет той напевности, что украшает музыкальный классический стих. Здесь главное — содержание. Запомнилась фраза в одной из книг Оно Тосабуро: «Самая бросающаяся в глаза особенность современной поэзии в том, что она придает большее значение образности мышления, чем музыке слов, зиждется на конструировании этой образности».

— Кто ваши любимые поэты? — спрашиваю я и слышу в ответ имена, создающие весьма определенное представление о вкусах моего собеседника.

— Маяковский и Евтушенко, но в первую очередь Маяковский. В ГДР — Брехт. Во Франции — Поль Элюар, Жак Превер. В Южной Америке — Пабло Неруда. В Турции — Назым Хикмет. В Англии — Огден. В Японии — Канэко Мицухару..

— Как относятся в Японии к русской литературе?

— Мы, японские писатели, выросли под влиянием Гоголя, Достоевского, Толстого и высоко их ценим. В студенческие годы я увлекался Сологубом, Арцыбашевым, Леонидом Андреевым, был влюблен в арцыбашевского «Санина». Но и тогда предпочтение отдавал Тургеневу в переводах Енэкава Масао и Накамура Хакуё и Чехову в переводе Накамура. Запомнился надолго «Слепой музыкант» Короленко. Люблю Лермонтова.

— Говоря о Тургеневе, вы упомянули имена двух талантливых японских переводчиков. Каких принципов должен придерживаться в работе переводчик художественной литературы, поэзии?

— Основной принцип — высокое качество. Пушкин был очень плохо переведен на японский язык, поэтому я не называл его в числе моих любимых поэтов.

— Часто переводят не писатели, не поэты, потому и художественные достоинства таких переводов не высоки, — добавляет поэт Акамацу.

— Для переводчика важна не форма, не рифма, а содержание, мысли и образы, дух поэзии, — продолжает профессор Оно. — Например, Китагава Фуюхико сделал превосходный перевод дантовского «Ада». До него Данте переводил Яmanoути Хэйдзабуро, но не понял его, стремился прежде всего сохранить форму, не проникся духом великого творения — и потерпел неудачу. Поэта может перевести только поэт! Китагава — настоящий поэт, Яmanoути же не был поэтом. Первый постигал суть произведения, второй лишь слепо следовал букве.

Оно-сэнсэй говорит горячо, вдохновенно. Неужели ему под семьдесят? Неужели у него шестеро детей и одиннадцать внуков? Не шутит ли сэнсэй? Но все же приходится поверить. Оно Тосабуро — самый многодетный поэт в Японии.

Наклонившись ко мне, Минатоно Киёко доверительно шепчет:

— Мы давно не видели сэнсэя таким воодушевленным.

А Минатоно? Вот уж поистине: женщине столько лет, на сколько она выглядит. Мне вспоминается, как самозабвенно веселилась Минатоно на товарищеском ужине в ресторанчике «Маруман», которым завершился литературный вечер во Дворце культуры. Шутила, смеялась, пела русские песни, задорно дирижируя разноголосым хором. Никому бы в голову не пришло, что у нее не только дети, но и внуки.

До войны поэтесса работала машинисткой в конторе завода, участвовала в пролетарском движении. Несколько лет назад умер ее муж — инженер. Сейчас Минатоно, по ее словам, «домохозяйка, читающая лекции о поэзии» в Литературной школе, активистка

местного отделения Общества японо-советских связей и дружбы. О своем писательском труде она скромно говорит: «Я — поденщик культуры».

«Японская поэзия расцвела лишь, после войны. Если бы снова пришло время фашизма, мы не смогли бы свободно писать» — таково убеждение Минатоно.

— Чем отличается, по вашему мнению, современная поэзия от старой?

— Ритм стихов в форме синтайси, которым великолепно владел классик литературы XX века Симадзаки Тосон, схож, как вы правильно говорите, с ритмом стихов в форме тёка, которые писал тысячу лет назад великий Хитомаро. Это ритмическое сходство осознавал и Тосон, поэтому свои стихи он стремился расцвечивать словами. Мы же, современные поэты, наполняем свои стихи... горем. В этом одно из отличий современной поэзии — поэзии свободного стиха — от старой.

— Древняя лирика, на мой взгляд, лирика покорных, — вставляет слово Акамацу Токудзи, — если учесть, что ей чужд пафос борьбы за свободу, а современный свободный стих — достояние освобожденного человека.

— В этом смысле, — поддерживает его Минатоно, — даже лирика прославленного Исикава Такубоку в какой-то мере кажется нам, мягко говоря, закованной в кандалы. Почему? Да потому, что в ней много грусти, тоски, смирения. Н почти нет гнева! А гнев — проявление свободного человека, раскрепощенного духа.

— Значит, стихи пролетарского поэта Огума...

— Да, — не дожидаясь конца вопроса, восклицает Акамацу, — он писал свободным стихом. Огума был борцом! Антифашистом!

Минатоно — автор лирического сборника «Рыбья речь». Конечно, ей хотелось бы издать новую книгу, она много пишет, но — увы! — она не может позволить себе этой роскоши: за издание нужно платить.

— А вы, Акамацу-сан [\[3\]](#), тоже платили за свой сборник? — я показываю ему только что вышедшую книгу.

— Пятнадцать тысяч иен — тираж четыреста экземпляров.

— Вы не поверите, — говорит Минатоно, — когда я прочитала в журнале «Советский Союз» стихи одной двадцатилетней поэтессы и узнала, что тираж ее первого сборника — десять тысяч экземпляров, я плакала от радости за нее. У нас это невозможно...

Невозможно. Теперь понятно, почему не верилось моим японским друзьям, что в издательстве «Правда» вышел переведенный мною сборник «Волны Японии» тиражом в сто тысяч экземпляров. «Такому тиражу позавидовал бы любой японский писатель», — сказал по этому поводу в интервью «Литературной газете» один из виднейших романистов Японии, Нома Хироси. Как рассказывал в Москве один токийский поэт, «условия жизни поэта в СССР и Японии коренным образом различаются... Сборники стихов издаются у нас крайне маленькими тиражами. Считается, что две тысячи экземпляров — это очень хорошо... Немало поэтов издает свои произведения на собственные средства. В подобных условиях не может быть и речи о том, чтобы прожить на гонорар...»

— У нас это невозможно, — повторяет Минатоно. — Начинающий автор может опубликоваться только за собственный счет.

Сидящий напротив молодой поэт Курахаси за издание сборника заплатил... сто тысяч иен! Правда,



Оно-сэнсёу не приходится платить — выручает слава, как и поэта Иноуэ Тосио, лауреата премии «Эйч».

— У нас в Японии немало литературных премий имени прославленных поэтов и прозаиков — Такамура, Муро, Акутагава... Но даже очень хорошие мастера не всегда их удостоиваются. Это связано с коммерческими интересами издательств. Не так ли? — обращается поэтесса Минатоно к Иноуэ Тосио.

Тот утвердительно кивает головой, попыхивая трубкой.

Немногословный, размеренный в движениях, я бы даже сказал, солидный, в том лучшем смысле этого слова, когда оно характеризует человека, знающего, как обрабатывать поле и добывать хлеб, Иноуэ Тосио — певец полей, лауреат самой популярной в Японии литературной премии, присуждаемой поэтам.

Он был удостоен ее в 1957 г. за книгу стихов «Радуга над полем». Премия носит несколько странное название — «Эйч». Иногда ее называют «премия Хасэгава», но неофициально, объясняя таким образом, что такое «Эйч». В напечатанном виде «Эйч» — не что иное, как английская буква «Н». Возможно, «Н» — начальная буква фамилии основателя этого премиального фонда. Однако никто не знает его подлинного имени — «секрет фирмы». Известна лишь сумма премии — пятьдесят тысяч иен (рублей сто двадцать пять на наши деньги). Премия «Эйч» в поэзии соответствует премии Акутагава в прозе. Присуждается премия «Эйч» ежегодно за лучший поэтический сборник, написанный свободным стихом. Присуждает ее Комитет премии «Эйч», входящий в Ассоциацию современной поэзии (Гэндайси кёкай). Введена премия в 1951 г.

— Вы сказали, Иноуэ-сан, что ваши стихи воспевают жизнь крестьян. А как вы относитесь к творчеству

крестьянского поэта Сибуя Тэйскэ, который еще до войны прославился книгой «Песнь полей»?

— О, это прекрасный поэт и... мой хороший друг. Лишь два японских поэта оказали влияние на мое творчество: Оно Тосабуро и Сибуя Тэйскэ... Я люблю поэзию Некрасова, особенно поэму «Русские женщины». Наверно, он близок мне потому, что с такой любовью и болью писал о русских крестьянах...

Иноуэ увлекается живописью. Любит современное искусство. Из мастеров кисти выделяет Шагала.

— Нам казалось, что послевоенные картины советских художников пусты и скучны. Ведь это не реализм, а, скорее натурализм, фотография. Но фотоснимок, как сказал Оно-сэнсэй, не в состоянии передать аромата цветов. Совсем иное — Шагал... Краски, поэзия, жизнь в гармонии, слитые воедино.

Иноуэ умолк, попыхивая трубкой...

## Школа талантов

В районе станции метро Мориномия в небольшом переулке стоит ничем не примечательное здание — двухэтажное, серое, обшарпанное. На фоне многоэтажного билдинга оно кажется еще невзрачнее. Но поблекшая вывеска действует на меня, подобно мемориальной доске на старом доме великого писателя или живописца. В вечерних сумерках белеют иероглифы: «Осакская литературная школа. Канцелярия».

Сначала я думал, что все здание принадлежит школе. Оказалось, ошибся. Ведь и школы, как таковой, не существует: есть арендуемое помещение для занятий и для канцелярии. Горько звучат слова: «Мы слишком бедны, чтобы иметь свое здание...»

Входим. Мрачноватый, казенного вида коридор. Краска на стенах облупилась. Да, это не «город будущего», возникший всего в пятнадцати километрах отсюда на территории ЭКСПО-70.

Девять ступенек направо, площадка, еще восемь ступенек налево, и мы попадаем в комнату метров тридцати. Свободного места маловато: столы, стулья, шкафы, лесенки, книги, бумаги, свертки — в порядке, а больше в беспорядке. Здесь работает пять человек — штатный персонал. Эта комната и есть канцелярия, или контора, все остальное в доме арендуют жильцы.

Нас тоже пятеро: Оно-сэнсэй, Минатоно, Хино с супругой Митико и я. У меня кассетный магнитофон. Рассаживаемся. Душный июльский вечер, но окно не распахиваем: там внизу, надрывно лает пес. Еще раз проверяю магнитофон и погружаюсь в такой знакомый и неизведанный мир японской поэзии. Поэзии, которая рождается среди суровой прозы жизни. Но видеть

прекрасное в жизни и заражать оптимизмом других — разве не этому учат своих учеников сидящие рядом со мной?

Необыкновенно много в Японии людей, любящих литературу. В стране поголовной грамотности, богатых литературных традиций тяга к художественному творчеству чрезвычайно велика. Чтобы удовлетворить в какой-то степени потребность желающих заниматься литературой, и существует Осакая литературная школа, основанная в 1954 г. Ее предшественницей была «Аудитория осакских поэтов», созданная рабочими в послевоенные годы. В дальнейшем родилась идея создать специальную школу, в которой могли бы учиться литераторы из народа. Так в Осака возникла Литературная школа во главе с выдающимся поэтом Оно Тосабуро.

Гордость школы — ее преподавательский состав: около шестидесяти высококвалифицированных специалистов. Своих лекторов нет. Их приглашают со стороны. Обычно это известные литераторы и молодые, заявившие о себе талантливymi книгами. Здесь читают лекции поэты, прозаики, преподаватели университетов Осака и Киото. «Литературная школа, — сказал как-то преподаватель Исихама Цунэо, — создает творческую атмосферу для неискушенных, но стремящихся к литературе людей».

Лекция продолжается, как правило, два часа. Вот темы некоторых: «Жанр повести: сюжет и тема», «Способы стихосложения, дух критицизма», «Проблемы современной литературы». Кроме лектора — прозаика, поэта, критика — на занятиях присутствует его помощник.

И все же лекции — не главное в школе. Основное внимание уделяется практическим занятиям. В классах обсуждаются произведения выдающихся мастеров японской литературы, а также малоизвестных или

начинающих литераторов. Обсуждения носят критический характер и напоминают заседания литературного кружка или творческого семинара.

Любопытно в этой связи высказывание Огава — преподавателя школы, читающего курс детской литературы: «Литература — дело индивидуальное, но многие замечательные писатели вышли из кружков. Очень важно, читая критически произведения своих товарищей, на них учиться. Давайте же как можно быстрее усвоим разницу между „самостоятельностью“ и „самовольством“ и будем воспитывать группу, которая сохранила бы свои ряды без потерь. Мне хотелось бы, чтобы все считали учителя своим товарищем...»

Основной принцип школы — «не применять таких учебных методов, которые вели бы к торговле знаниями». Иными словами, руководствоваться интересами исключительно литературными, а не коммерческими, литература не должна быть предметом купли-продажи. В стенах школы культивируются дух бескорыстного служения литературе, бескомпромиссность, реализм.

— Что изучается в вашей школе? — спрашиваю я профессора Оно Тосабуро.

— Современная поэзия, свободный стих, и проза — повесть, роман. А также литературная критика. Учебной программой не предусмотрено изучение стихов в жанре танка и хайку, они используются лишь в качестве иллюстративного материала на лекциях, на семинарских занятиях.

— Не означает ли это, что пятистишия и трехстишия как жанр непопулярны?

— Лично я навсегда связал свою судьбу со свободным стихом. В книгах по теории стиха я изложил свои взгляды на этот счет. Говоря в двух словах, мое отношение к танка и хайку отрицательное: они изжили себя и в наш бурный век не могут выразить глубоко и

художественно убедительно ни автора, ни время. Естественно, как сторонник свободного стиха я пропагандирую его и в моих лекциях...

«Школа наша не совсем обычная, — вспомнились мне слова заведующего канцелярией Мацуока Акихиро, — она готовит людей, владеющих оружием литературы. Наш художественный метод отображения действительности — реализм».

В Литературной школе шестьсот студентов. Они учатся на дневном и вечернем отделениях. Названная цифра включает и заочников. Занятия: два раза в неделю — на дневном отделении и один раз — на вечернем. Принимают в школу дважды в год: в апреле и в октябре. Поступающие должны представить свои сочинения: стихи, повесть, репортаж — в зависимости от индивидуальных наклонностей. Программа рассчитана на двенадцать месяцев: основной курс — начальная стадия обучения, курс усовершенствования — завершающая стадия, нечто вроде аспирантуры сроком шесть месяцев. На дневном отделении учатся домохозяйки, а также девушки, обычно дочери обеспеченных родителей, не работающие и еще не вышедшие замуж; на вечернем — государственные служащие, рабочие заводов, врачи, торговцы, студенты, учителя.

На заочном отделении обучаются в основном жители района Кансай<sup>[4]</sup> и других мест Японии. Есть даже один заочник с Окинавы. Слушатели школы делятся на группы, или классы, в соответствии со склонностями — к поэзии, прозе, критике.

Любопытные данные о школе я почерпнул из брошюры, подаренной мне Мацуока. Принимаются в нее лица в возрасте от восемнадцати до... семидесяти лет. Плата за обучение — тысяча иен в месяц. Среди учащихся сорок процентов мужчин и шестьдесят —

женщин, семьдесят процентов прозаиков и тридцать — поэтов.

Учащиеся литературной школы не только усваивают теоретические знания, но и реализуют их на практике. Десять раз в год выходит школьный журнал «Ибуки» («Дыхание»). Получившие благоприятную оценку произведения помещаются в издающемся при школе тиражом в тысячу экземпляров журнале «Синбунгаку» («Новая литература») — органе Осакской литературной ассоциации, которую возглавляет Оно Тосабуро. Ассоциация — независимый творческий союз, объединяющий в своих рядах учащихся и выпускников Литературной школы, ее преподавателей, журналистов, членов различных кружков. Основная цель ассоциации — способствовать дальнейшему развитию новой литературы, пропагандировать ее достижения, находить таланты и поощрять их.

Ежегодно в области поэзии и прозы присуждается премия Осакской литературной школы. Возможность получения премии — стимул для учащихся.

Школу со дня ее основания окончили свыше трех тысяч человек. Примерно треть из них живут активной творческой жизнью.

— Кто из выпускников школы снискал особую известность как литератор?

— Среди выпускников много талантливых авторов, — отвечает Оно Тосабуро. — Взять хотя бы Танабэ Сэйко. Она окончила нашу школу в 1957 году, а в 1963 году была удостоена общенациональной премии Акутагава за повесть «Сентиментальное путешествие». Сейчас писательнице за сорок. Основная тема ее произведений — жизнь горожан Осака и Кобэ...

На страницах газеты «Асахи» сама Танабэ Сэйко так оценивает роль Литературной школы в своей писательской биографии: «Очень трудно создать произведения, которые бы выдержали критику

читателей. Но школа научила меня этому. Я училась всего год — на основном курсе и на курсе усовершенствования. За это время я приобрела много замечательных друзей среди литераторов, почувствовала интерес к Сартру. Встреча с литературой определила мою судьбу. Мои слова можно отнести ко всем учащимся».

В Осака меньше писателей и издательств, чем в Токио. Этот торговый и промышленный город всегда считался «бесплодной в литературном отношении землей», но энергия новой литературы дает о себе знать все больше и больше. Как и Токийская литературная школа в Наканоку, Осакая литературная школа — явление уникальное.

«Мы слишком бедны, чтобы иметь свое здание» — эту фразу, мне кажется, можно продолжить: «...но слишком богаты, чтобы растить таланты и без него».



## **«Вперед, только вперед!»**

...На берегу живописного озера Яманака у подножия царственной Фудзиямы веселилась, митинговала, спорила и гневалась молодежь. Это был фестиваль японо-советской дружбы в августе шестьдесят шестого. А весной того же года в Москву приезжали члены подготовительного комитета, объединившего различные молодежные организации страны. Среди них был и Хино Нориюки. Его долговязая фигура, наверно, многим бросалась в глаза в тот летний фестивальный месяц.

Неизгладимое впечатление оставило в душе Хино путешествие в Советский Союз. Он называет города, в которых побывал: Москва, Ленинград, Ереван, Хабаровск, Находка...

— Мне очень хочется снова увидеть Россию. Если соберу денег, непременно поеду в СССР. Буду счастлив опять повидать Москву. И еще Ясную Поляну. О встрече с Толстым мечтаю давно...

Забегая вперед, скажу: эта мечта осуществилась в 1972 г. — в составе делегации деятелей культуры Хино вновь побывал в Советском Союзе.

Хино не очень похож на японца. Худощавый, стройный, с тонкими чертами лица и совсем не раскосыми глазами, а главное — «баскетбольный» рост: метр восемьдесят два!

Рядом с Хино — его спутница жизни. Она тоже выглядит не типично — нет столь характерной для японок миниатюрности. Я невольно ловлю себя на мысли, что передо мной наша русская или скорее украинская девушка, вот только застенчивость, робость — это уж от японской веками освященной традиции: у женщины свое место в жизни. И все же

спутница Хино — человек вполне современный. Ее зовут Митико. Она художница-декоратор. Постоянной работы, к сожалению, нет, а случайные заработки не часты. Молодые живут более чем скромно, по-студенчески. Митико изучает поэзию в Осакской литературной школе, где ее муж, Хино, работает ответственным секретарем канцелярии. Познакомились они весной 1967 г. А потом сыграли свадьбу, на которой было человек сто гостей.

— В основном были наши друзья студенты и родственники. Собрали по тысяче иен и сняли зал «Кайкан». А у вас бывают студенческие свадьбы вскладчину?..

...В каждом деле есть люди, у которых чуть-чуть больше огонька, чем у других, чуть-чуть больше энергии и задора и намного больше хлопот и дел. В мероприятиях, проводимых Осакской литературной школой, один из этих людей — Хино Нориюки. Он договаривается, согласовывает, увязывает, ожидает, сопровождает — словом, он незаменим на должности ответственного секретаря.

Осакская литературная школа постоянно расширяет «географию» своих мероприятий. При случае охотно устраивает встречи с литераторами, приезжающими из-за рубежа. Правда, встречи такие крайне редки, но они собирают много любителей. Вот и приезд советских японоведов в Осака послужил поводом для установления новых и укрепления старых связей.

Мое первое знакомство с Осакской литературной школой состоялось в 1966 г., когда мне довелось участвовать в литературной встрече в составе группы переводчиков второй Советской торгово-промышленной выставки.

...Помню, мы шли по ночному городу и Оно-сэнсэй показал мне каменное изваяние божества, которое действительно оказалось всесильным. Плеснув водой,

как положено по ритуалу, в будду Мидзукакэфудо, которого жжет вечный огонь, я загадал желание: встретиться снова с друзьями из школы, снова приехать в этот огромный город.

В один из майских дней семидесятого года я оказался в актовом зале Осацкого городского клуба учителей, где были Оно Тосабуро, Минатоно Киёко и около ста слушателей Литературной школы. Меня, работавшего в Советском павильоне на ЭКСПО-70 консультантом по русской и советской литературе, попросили выступить здесь с лекцией «Революционные традиции в советской поэзии».

Я пораился жадному интересу к советской литературе, к жизни в СССР, который проявляла творческая молодежь, заполнившая зал. И если лекция о советской поэзии заняла около часа, то ответы на вопросы — значительно больше. Будущие литераторы интересовались всем. Они хотели узнать как можно больше о нашей стране и ее духовной жизни. В зале вырастал лес рук, едва председательствующий спрашивал: есть ли вопросы?

Вопросы были разные — и наивные, простодушные, свидетельствовавшие о недостаточности объективной информации о Советском Союзе, и серьезные, продиктованные стремлением познать глубинные процессы, происходящие в привлекательном, неизвестном мире, и курьезные, порожденные слухами.

Издаются ли на собственные деньги журналы, газеты, сборники? Действительно ли бесплатно обучение в вузах? Существует ли свобода слова, выходят ли антикоммунистические, антисоветские книги?..

Многих волновал Достоевский. В Японии он особенно любим. Один студент, посетивший нашу экспозицию на ЭКСПО-70, с жаром рассказывал мне, что каждый японец в молодости непременно прочитывает

как минимум две книги русских классиков, и, конечно, в первую очередь Достоевского, а также Толстого. И вот вопрос:

— Говорят, Достоевский, который выступал против царской системы, после Октябрьской революции не признан и гоним, как и раньше. Верно ли это?

— Чтобы понять, как мы относимся к Достоевскому, следует посетить Советский павильон. Там, под огромным портретом этого великого писателя, собраны многочисленные издания его книг, вышедших в советское время, и бережно хранимые музейные реликвии — его личные вещи.

...Времени, на которое был арендован зал, оказалось недостаточно, чтобы закончить беседу, и решено было встретиться снова — для обсуждения литературных проблем, волнующих обе стороны. Так возникла идея о проведении совместного японо-советского симпозиума. Были выпущены листовки, оповещающие о дне и часе проведения этого мероприятия в том же Клубе учителей.

Неутомимый организатор Хино заехал за нами в Советский павильон задолго до начала. Бледный, уставший, он казался еще выше ростом.

— Нельзя ли перенести день встречи? — спросил я, сославшись на то, что с нашей стороны мало участников.

— Билеты уже разосланы, народ соберется... — ответил по-английски Хино-сан.

— И Митико будет? — спросил я.

— И Митико, — широко улыбнулся он.

И снова знакомые стены зала Клуба учителей. На этот раз я не один. Нас трое. Мы — это работники Советского павильона, японоведы: Сергей Булатов, сотрудник ленинградской библиотеки, Виталий Совастеев, студент-пятикурсник Дальневосточного государственного университета, и я. Втроем легче. Все

мы говорим по-японски, Виталий — скромный худенький паренек — хорошо разбирается в литературе, увлекается живописью, изучает японскую историю.

За столом с двумя микрофонами и флагами обеих стран — профессор Оно Тосабуро, поэт Киндзи Сё (кореец по национальности, только что издал книгу — поэму в три тысячи строк под названием «Ниигата»), литературный критик Мацубара Синъити, поэтесса Минатоно Киёко, критик Мацуока Акихиро — все они преподаватели Осакской литературной школы.

Нас, японистов, интересовали прежде всего проблемы японоведческие, но собравшиеся в зале, как и сидящие за столом президиума, страстно хотели услышать о советской литературе.

С основным докладом выступил я. Тему предложил по своему выбору: «Ленинские принципы партийности литературы». Выбор был не случайным: в семидесятом году, когда весь мир отметил столетие со дня рождения В. И. Ленина, исполнилось и шестьдесят пять лет со дня опубликования ленинской работы «Партийная организация и партийная литература». Именно эта работа сыграла огромную роль в истории советской литературы, в понимании проблемы «писатель и общество». Она актуальна и в наши дни, когда в мировом литературном процессе усилились тенденции так называемой надклассовости литературы.

Проблема эта была актуальной и здесь, в этом длинном учебном зале с черными столами. Понимали ее и толковали, правда, по-разному. Выступая в прениях, Минатоно Киёко сказала по поводу моего доклада, что он «очень хорош, но слишком ортодоксален». Социалистический реализм, по ее словам, предъявляет «слишком жесткие требования», а к изображению энергии народных масс «следует подходить с общечеловеческих позиций, с позиций более широкого, солнечного мироощущения».

Об издании в СССР переводов произведений японских авторов рассказал Сергей Булатов. Цифры производили впечатление: за годы Советской власти произведения японских писателей издавались двести шесть раз на двадцати четырех языках народов СССР. В нашей стране широко известны имена Тикамацу Мондзаэмона, Ихара Сайкаку, Мацуо Басё, Исикава Такубоку, Кобаяси Такидзи, Мацумото Сэйтё и др.

Оживленный обмен мнениями состоялся по проблемам, поднятым поэтом Киндзи. Он суммировал вопросы японской стороны:

1. Что мы понимаем под социалистическим реализмом, который является господствующим направлением в искусстве социалистических стран?

2. Возможно ли существование социалистического реализма в условиях капиталистической действительности?

3. Почему мы называем Пушкина народным поэтом и так высоко ценим «Евгения Онегина», ведь в произведении изображена жизнь дворянского общества и потому его следует причислить к «дворянской литературе»?

На первый вопрос мне уже приходилось однажды отвечать в этом зале. Виталий Совастеев отвечал на последний вопрос. Он отметил, что «Евгений Онегин» не просто хроника дворянской жизни, что социальные проблемы, затронутые в поэме, масштабнее и острее, и напомнил оценку творчества Пушкина Белинским...

Любопытной была дискуссия о творчестве ныне покойного Кавабата Ясунари, лауреата Нобелевской премии. Большой интерес вызвала также проблема сознательного и бессознательного в творчестве писателя, затронутая Оно Тосабуро.

Участники встречи пожелали нам, чтобы мы больше переводили на русский язык японских пролетарских поэтов и прозаиков 30-х годов, а также познакомили

советских читателей с современной прогрессивной японской литературой. Всеми присутствующими была выражена уверенность, что подобные встречи будут содействовать упрочению культурных связей между странами-соседями, лучшему знанию литератур друг друга, доказательством чему послужат новые переводы книг.

...На прощание друзья из Осаки литературной школы подарили нам значок своего учебного заведения. Мне он почему-то напомнил космическую ракету. Ощущение сходства усилилось, когда нам пояснили, что девиз школы, воплощенный в значке, — «Вперед, только вперед!»

Я вынес глубокую убежденность в том, что движение школы вперед осуществляется под знаменем гуманистических идей.

## Кто правит миром?

Оно-сэнсэй удивительно моложав в своем коричневом пиджаке из букле. Он не официален, прост, проблеск седины в волосах не воспринимается как мета времени, скорее как украшение. Его энергия неистощима...

Как-то в полночь он должен был выступать по телевидению, и мне захотелось увидеть поэта на голубом экране.

...В просторном холле новенького отеля «Синханкю» («не только лучшего в Осака, но и одного из самых великолепных на Востоке», если верить рекламе) было пустынно и прохладно. На телеэкране — что-то из жизни политических партий. Парню в «бабочке», изредка отмеривавшему посетителям горячительное, видно, надоели монотонные речи ораторов — он извинился и переключил программу. Замелькали кадры душещипательного фильма... Парень смотрел, не отрываясь... И было радостно за него — фильм оторвал его от бокалов, увлек в страну несбыточных грез, далекую от реальных заказов виски...

Неожиданно раздалось частое цоканье металлических каблучков о паркет (тогда еще не были в моде широкие каблуки). Американка со спутником вошли в тот момент, когда действие картины приближалось к развязке. Она снисходительно улыбнулась. Невольно я перевел взгляд на парня за стойкой. Он все так же, не отрываясь, напряженно следил за действием...

Я уже начал было беспокоиться, не изменилась ли программа, как вдруг во весь экран широко улыбнулось открытое лицо Оно-сэнсэя. Передача называлась «День моего любимого произведения». Она проводилась



впервые. Участвовать в ней пригласили человек двенадцать маститых поэтов, прозаиков, художников, скульпторов. По замыслу организаторов именитые деятели культуры должны были рассказать зрителям о своих любимых произведениях.

...Медленно проплывает перед взором скульптура, а за ней — в разных ракурсах — фигуры «артистов». И вдруг — взрыв, все исчезает. На экране английские буквы «Drink dry vermouht» — «Пейте сухой вермут!», «Всего 750 иен!»

Не успел я опомниться, а на экране опять, как Афродита, рожденная из пены морской, поплыло классическое изваяние «моего любимого произведения». И снова знакомые лица поэтов Оно Тосабуро, Янахира Исаку (он же профессор эстетики киотоского университета Досися), Адати Кэнъити...

Женщина развернула черную мусульманскую шаль — тоже «любимое произведение». И вновь — оглушительный взрыв: «Пейте „Сантори виски“!», «Бутылка — 300 иен!» Теперь уже зывали не английские, а японские надписи... Словно соревновались бутылки и люди — кто кого затмит на этом изменчивом, как осеннее небо, стеклышке телеэкрана.

Знаменитый сёдока Сакаки Бакудзан — каллиграф, чье искусство славится в Осака, красивой скорописью начертал на белом листе картона стихотворные строки. «О, это мое любимое произведение! — воскликнул, смеясь, Оно. — Я повешу его у себя в комнате...» На листе картона были его стихи.

Только я схватил фотоаппарат, чтобы запечатлеть момент, как на экране под грохот джаза появились конкуренты искусства — этикетки, бутылки, ярлыки с ценами... Затем вырвались вперед «негры»-танцоры во главе с популярной эстрадной певицей Юми Каору. «Негры» с бокалами виски в руках танцевали

американский «степ». Поэтов я больше не видел: неистовствовала реклама. Тема напитков вытеснила все остальное... В час ночи, изнемогая, телевизор хрипел: «Пейте сакэ, Сэкайтё“!», «Пейте сакэ „Глава мира“!»

...На другой день я был невыспавшимся и злым: никто не верил, что «мое любимое произведение» — телекомпания «Иомиури».

## Официант-писатель

...В таинственном полумраке от дуновения ветерка колеблется тусклое пламя настольных ламп под алыми колпаками, словно цветущее поле маков. Не удержавшись, приподнимаю колпак: под ним полыхает спиртовка... Так вот он, ресторан «Кита», или по-русски «Север», — обитель влюбленных, где романтика уживается с баснословными ценами и, наоборот, совсем невысокими.

В дверях нас встретил юноша, безукоризненно одетый, застенчивый и почтительный.

— Наш студент Кобаяси, — представил его кто-то из поэтов, преподавателей Осацкой литературной школы.

Заказываем «Маку-но ути» — «Во время антракта», скромное блюдо, названное так потому, что обычно его берут в театральных буфетах: и дешево, и ждать недолго. Из напитков — пиво. Под звуки джаза поднимаем тост — за успехи официанта, да, да, того, что, застенчиво улыбаясь, мгновенно сервировал наш стол. Ведь он и есть тот самый Кобаяси Кадзуми, который только что поступил в Осацкую литшколу!

— Хочу написать повесть, но какую, еще не решил, — отвечает на мой вопрос восемнадцатилетний «автор».

Наверно, он напишет о своей жизни, о той всемогущей действительности, что разбивает иллюзии и сердца, ломает веру и коверкает души. Обычная история, каких немало. После смерти отца заботы легли на плечи сына. Мать, сердечница, лежит в больнице. Теперь не до учения — надо жить, а значит, работать, зарабатывать деньги. И вчерашний школьник становится официантом. Как же складывается его рабочий день?

— Работаю с шести вечера до трех ночи. Сплю до двенадцати дня. Раз в неделю хожу на лекции в Литшколу.

Кобаяси лишь пригубил пиво — пить нельзя, он на работе... А вокруг пили и ели. Да, это и был тот самый контраст, о котором часто пишут наши туристы, контраст между таким вот парнем и теми, из «золотой молодежи», кто прожигал свою жизнь и доходы родителей.

Что-то безумное выдувал саксофон, и не было и намека на здешнее, восточное, в этом зрелище: лихие джазисты, европейские платья, девушки с богатыми украшениями, яро отплясывавшие с холеными партнерами модный тогда «монки-дансу» — «обезьяний танец».

А Кобаяси обслуживал, улыбаясь почтительно и застенчиво.

## Там, где зарождаются тайфуны

*И Япония шестидесятых годов, и мир семидесятых годов, если говорить о литературе и искусстве, немыслимы без поэзии Таки Сигэру.*

*Акияма Киёси*

Середина августа. Июльский удушливый зной спал, но жарко еще, очень жарко. Правда, сегодня хмурое, словно осеннее, утро. И порывистый ветер. Зябко поеживаясь, подхожу к ожидающей машине. Женя Ильин, мой старый соперник по шахматам, уже ждет с дорожной сумкой в руках. Он инженер-энергетик, в Японии впервые. Его «хобби» — фотографироваться с известными людьми или на фоне памятников. Поэтому он с радостью отправляется со мной за сто километров от Всемирной выставки в префектуру Вакаяма в гости к поэту Таки Сигэру.

Любезным приглашением посетить поэта я воспользовался незамедлительно. Я знал Таки Сигэру по книгам, собирался о нем писать, уже давно подбирал материалы, перевел кое-что из его стихов. Во всяком случае мог уже в какой-то мере соглашаться или не соглашаться с оценками его творчества и того места, которое он занимал на японском Парнасе. По справедливому утверждению Акияма Киёси, видного исследователя японской поэзии, Таки Сигэру входит в тройку лучших поэтов-марксистов, участвовавших в движении за пролетарскую поэзию 20–30-х годов.

...Погода явно начинает портиться. Заморосил мелкий дождь. А мы даже не выехали за пределы Осака. По данным метеосводки, ожидается тайфун, и сегодня — первый день его приближения. Первый из трех. Сначала мелкий дождь, а через три дня ураганные вихри могут срывать крыши с домов и ломать деревья. Ну что ж, посмотрим, такого мне еще не приходилось видеть, хотя я и пересекал Японию от Токио до крайнего севера.

Тучи сгущаются. Мы с трудом выбираемся из Осака и едем дальше на юг. Верить в это приходится на слово: пригорода в нашем представлении нет и нет, вокруг тянутся дома городского типа. Юг Японии заселен густо, не то что северный остров Хоккайдо.

«Идзумиоцу славится производством шерсти», — читаю в путеводителе, а мимо проносятся всё новые промышленные центры. Что это? У каменных перил на повороте дороги под проливным дождем стоит с поднятой рукой полицейский. «Андзэн дайити!» — «Безопасность прежде всего!» Этот призыв я видел на сталелитейных заводах в Муроране, на бакелитовых предприятиях компании «Сумитомо», на строительстве ЭКСПО-70. Об этом же безмолвно напоминает фигура полицейского... из цемента. На опасных участках пути в Идзумиоцу днём и ночью дежурят эти фигуры, искусно имитирующие живых людей.

В городе Сакаи дорога идет по старому побережью океана, точнее, Осацкого залива, почти вплотную к воде. Теперь океан плещется справа от нас на расстоянии километра. Его «отодвинули»: засыпали часть залива, залили бетоном и асфальтом и на отвоеванном участке суши воздвигли огромный нефтекомбинат.

У города Сакаи своя, как отмечают местные патриоты, «длинная славная история». Еще в XV в. это был крупный торговый порт страны, экономический и

культурный центр. Сейчас в нем насчитывается свыше пятидесяти пяти тысяч жителей.

Приморские промышленные районы Сакаи и Сэмбоку отвоены у Осацкого залива. Здесь сосредоточено более семидесяти предприятий тяжелой и химической индустрии, экспортирующих продукцию за границу. Появление этих районов — одна из попыток решить проблему перенаселенности, дефицита жилья и строительных площадок для заводов и фабрик. Проблема рождена чрезмерной индустриализацией Осака, что, в свою очередь, объясняется не только выгодным расположением города на берегу залива в центре страны, но и нежеланием вкладывать капиталы в другие, удаленные и малоосвоенные районы Японии.

В восточной части Сакаи расположен знаменитый мавзолей девятнадцатого императора, Нинтоку. По занимаемой площади эта гробница, сооруженная в V в., считается крупнейшей в мире. Даже самая большая египетская пирамида превосходит ее только по высоте. Три широких рва, заполненных водой, окружают мавзолей Нинтоку.

Идзумисано — последний городок на юге Осацкой области. Залив переходит в пролив Кии, где начинается Тихий океан.

Перед нами город Вакаяма, столица префектуры того же названия. Словно городские ворота — река Кинокава, впадающая в океан. На высоком холме гордо возвышается замок. Он был уничтожен во время войны, но отстроен заново. По краю крыши изваяния дельфинов, символ того, что есть вода и пожаров можно не опасаться.

Дыхание океана становится все ощутимее, океанские дали — все неогляднее. Но вот исчезает водная гладь, ее заслоняют горы. Машина с разбега ныряет в тоннель — минута, другая. Тоннель кажется бесконечным, за поворотом — другой тоннель. Потом

еще и еще... «Не город в горах, а горы в городе» — можно сказать о Вакаяма. Город рядом, рукой подать, но путь к нему долгий, извилистый. Машина то мчится по мосту над широким устьем реки Кинокава, то снова влетает в один из десяти тоннелей. Видны то корабли на рейде, то замок на высоком холме с дельфинами на островерхой крыше, стерегущими древний дворец от пожаров.

Как и в других местах Японии, здесь нет четкой границы между городами. Незаметно прорезав насквозь Вакаяму, мы очутились в Арита, раскинувшемся на гористом побережье Тихого океана. Внимание привлекает мелкий кустарник с густой «чайной» листвой, который, как зеленым туманом, окутывает горы. Мандарины! Да, знаменитые на всю страну мандарины. Город мандариновых плантаций.

Было три часа дня, когда после заезда в помещение профсоюза осакских таксистов и небольшой остановки в придорожной гостинице, где мы ели итальянские макароны, вошедшие в моду после войны, машина подъехала к конечному пункту нашего путешествия.

Если есть на земле райские уголки, то в одном из них, несомненно, обитает Таки Сигэру.

Кажется, не было ни дождя, ни чада, ни бесконечных переездов и дорожных заторов, ни монотонных индустриальных пейзажей, ни ста километров пути в течение пяти с половиной часов. Настолько резко контрастирует со всем этим утонченная красота и изящество жилища профессора Таки. Типично японский микросадик, окружающий деревянный дом с раздвижными стенами, декоративные низкорослые сосны, дорожка из редко разбросанных крупных камней, два маленьких пруда с карпами...

У калитки нас радушно встречает хозяин. Одет он по-европейски: серые брюки, серая рубашка-



безрукавка. В этом же костюме он приходил к нам в Советский павильон, но тогда не было домашних шлепанцев на босу ногу, а сейчас нет в руках большой суковатой палки (профессор прихрамывает).

Пока хозяйка хлопочет в соседней комнате (ее хлопоты видны нам сквозь густую сетчатую штору, которой задернута раздвижная стена), я, не теряя времени, распаковываю магнитофон. Женя Ильин щелкает фотоаппаратом и, наконец, не выдержав, усаживается рядом с хозяином. Теперь уже снимаю я.

Комната, в которой работает поэт. На полу шумит вентилятор, хотя окна и двери распахнуты. У окна маленькое пианино — играет жена. Букет цветов, кукла под стеклянным колпаком, репродукция «Рукь бога» Огюста Родена, купленная в Париже, в Лувре О путешествии Таки Сигэру в Европу летом прошлого года рассказывает красочный фотоальбом, «изданный» заботами сопровождавшей его супруги. Тогда-то, по дороге в Париж, он впервые увидел и Москву.

Роден дорог и близок сердцу поэта. Теперь мне ясно, почему посетители Советского павильона подолгу останавливались у скульптуры Мухиной «Жатва» — японцы, восхищающиеся Роденом столь же неистово, как Достоевским или Чайковским, находили в ней сходство с творениями великого ваятеля. Роден в Японии — бог. Его изучают, ему подражают. В Токио есть его музей.

В Хигаси-мати, где располагался иностранный персонал ЭКСПО-70, мы каждый день, идя на работу, видели у сквера статую обнаженной женщины — подражание Родену.

Не менее популярны в Японии французские импрессионисты, особенно Матисс — кумир здешних художников. Вглядываюсь в картину, висящую рядом с репродукцией Родена, узнаю Клода Моне — морской пейзаж с кораблем, копия. На другой стене — картина,

выполненная маслом. Очень знакомый вид: Аритагава, впадающая в океан. Эта речка рядом, вон за той школой, что виднеется из окна метрах в двухстах. Устье Аритагава, славящейся форелью, изобразил на полотне художник из Миносима — Маруяма Кэйдзо, живописец-любитель.

Таки-сэнсэй возглавляет местный литературный кружок, Маруяма-сан активный его участник. Оба примерно одного возраста. В кружке Таки преподает литературу, теорию искусства, японское классическое стихосложение.

...Дождь почти перестал. В открытое окно сквозь легкие заволакивающие небо тучи просочились солнечные лучи. В правой руке Таки держит микрофон, в левой — горящую сигарету. Смотрит в окно, напоминая картину с японским ландшафтом, и говорит, говорит — медленно, спокойно, негромко...

— Со студенческих лет я испытал огромное влияние советской и особенно русской литературы: Толстого, Достоевского... Русская литература отличается от литератур других стран тем, что она обращается к общечеловеческим проблемам, учит, как следует жить на земле. В пору студенчества, читая свои любимые произведения, я думал, что и сам буду жить так, как описано у Толстого, Достоевского, Тургенева, Чехова... Закончив университет, я начал писать стихи.

...Кружится вентилятор на зеленом ковре, слышится журчание воды; шум проносящейся электрички возвращает к реальной жизни, о которой рассказывает почтенный профессор.

Таки Сигэру родился в 1907 г. Окончил литературный факультет Киотоского университета. Еще студентом связал свою судьбу с движением за создание пролетарской литературы, в частности поэзии. С 1933 по 1934 г. жил в Осацком промышленном районе, а в 1936 г. вернулся в родные места, в префектуру

Вакаяма, и вот уже тридцать с лишним лет живет здесь, в городе Арита. Во время войны крестьянствовал, после войны рыбачил. В трудные годы до сорок пятого нелегко было жить уцелевшим участникам пролетарского литературного движения. Для тех, кто не был убит в застенках, как Кобаяси Такидзи, кто не томился в одиночных камерах, свобода была поистине иллюзорной: писать, а тем более публиковаться было строжайше запрещено.

— Почему вы взяли себе псевдоним?

— В те времена считалось: если ты участвуешь в борьбе на стороне трудящихся — рабочих, крестьян, то и имя у тебя должно быть соответствующее. Мы, молодежь, особенно выходцы из интеллигенции, старались как-то «усилить» свои имена, взять псевдоним, который бы подчеркнул связь с рабочими, крестьянами, их трудом и борьбой. Вот я и стал подписываться Таки Сигэру<sup>[5]</sup> вместо Касамацу Кадзуо. Псевдоним этот я выбрал как-то случайно, но, раз подписавшись, Уже не менял его...

Профессор Осацкого университета Таки Сигэру читает лекции и в Осацкой литературной школе. Он знаток немецкого языка и литературы. С 1949 г. и по сей день преподает немецкий язык в специальной женской школе. Австриец Рильке, создавший страстную книгу о Родене, — его любимый поэт. О нем он пишет исследования, выступает с докладами.

На книжной полке в кабинете профессора — собрание сочинений Бертольта Брехта в двадцати томах, изданное в ГДР, «Введение в немецкий язык», труды по стихосложению, книги самого поэта. Вот издание 1969 г. — «Стихи Таки Сигэру». В эту богато оформленную книгу вошли произведения, написанные в течение сорока лет — и первые, довоенные стихотворения, и новые, совсем недавние. Открывается

она знаменитой «Песней под пыткой». Это о ней в послесловии к книге говорит Акияма Киёси: «Если бы мне пришлось выбирать из всей пролетарской поэзии какое-нибудь одно, самое представительное произведение, я, вероятно, выбрал бы именно это стихотворение, ибо в нем запечатлен определенный период в жизни Японии...»

Что же это было за время? Напуганные размахом пролетарского движения, власти решили одним-двумя ударами уничтожить левую оппозицию. Для них, готовивших войну в Китае и на Тихом океане, врагом номер один была компартия.

В ночь на 15 марта 1928 г. по всей стране прокатилась лавина арестов. Тысячи коммунистов и деятелей левого движения были схвачены и без суда и следствия брошены за решетку. Рабоче-крестьянская партия, Всеяпонская лига пролетарской молодежи были объявлены вне закона...

16 апреля 1929 г. тысячи новых жертв переполнили тюрьмы. Министерство юстиции «объясняло» массовые репрессии в сообщении, утверждавшем, будто коммунисты замышляют низвержение вечного и нерушимого государственного строя, установление диктатуры рабочего класса, защиту Советской России, завоевание полной независимости всех колоний... «Они хотят создать коммунистическое общество!..» — угрожающе заканчивался документ.

Этого было достаточно, чтобы «оправдать» варварские меры расправы и запугать обывателя «красной опасностью». Операция «Варфоломеевская ночь», проведенная в два приема, дала свои результаты: инакомыслящими были забиты до отказа все тюрьмы. Начались истязания жертв, зверские убийства. Погибли видные деятели Компартии Японии Ватанабэ Масаноскэ, Ямамото Сэндзи и другие.

Вот как описывает обстановку в тюрьмах того периода в своей повести «15 марта 1928 года» пролетарский писатель Кобаяси Такидзи, который позднее, в 1933 г., сам был злодейски убит в полицейском застенке: «В камере для допросов к потолочным балкам был прикреплен блок с перекинутой через него веревкой. Ноги истязаемого привязывали к концам веревки и поднимали его к потолку головой вниз. Затем, ослабляя веревки, ударяли головой об пол, как бы трамбуя землю. С каждым ударом кровь прилиwała к голове. Лицо пылало как огонь. Налитые кровью глаза готовы были выскочить из орбит...»

Таки Сигэру было двадцать два года, когда на страницах органа пролетарских литераторов Японии — журнала «Сэнки» («Боевое знамя») в 1929 г. появилась его «Песня под пыткой». Ей суждено было не сходить со страниц антологий и хрестоматий. Ее запрещали и убивали, но Песня, несломленная, непокоренная, гордо взлетала ввысь. Я перевел эту песню задолго до встречи с автором, и мне хотелось бы привести ее полностью как документ той далекой эпохи, когда японское революционное движение набирало силы.

Что толще — кожа у вас на руках или кожа у нас  
на щеках?

Что крепче — карандаш между нашими  
пальцами или суставы

пальцев;

Что раньше хрустит — кадыки у нас или кончики  
пальцев

у вас, сжимающих

кадыки?

Что тверже — каблук с железной подковой у вас  
или наши зады?

Мы, спокойные,

Вам, начинающим горячиться,  
Мы, умолкающие постепенно,  
Вам, говорящим все больше и больше,  
Ответим четко и ясно.

Задушив, затопить водой,  
Кулаками избив, окатить водой.  
Затоптав, затопить водой,  
Чтобы смыть следы с разбухшего тела!  
Это — ваша профессия.  
Этим  
Двигается вверх ваша зарплата.  
Ответим четко и ясно  
Вам, овладевшим искусством убийц,  
не оставляющих ран на теле!

Четко и ясно ответим.  
    Карандаш,  
    Ремень,  
    Бамбуковый меч<sup>[6]</sup>,  
    Железная палка,  
    Кончики пальцев,  
    Ладони  
    И каблуки —  
Перед ними, распластанные на цементе,  
Мы. теряющие сознание  
    без единого крика,  
Мы, приходящие в память  
    без единого крика.  
Ответим:  
    «Мы — пролетарии,  
    мы — механизм,  
    мы — сталь,  
    мы — бессмертье!»

— «Песню под пыткой» я написал в студенческие годы в Киото, — рассказывает Таки Сигэру. — Тогда я был членом Союза пролетарских поэтов и сотрудничал в «Сэнки». Как раз в те годы и произошли трагические события, известные как инциденты «15 марта» и «16 апреля». Стихотворение было написано в обстановке массовых репрессий, когда и мне пришлось пострадать от полицейского террора, развернувшегося по всей стране. После освобождения из-под ареста я перебрался в Осака, где прожил около двух лет в бедном пролетарском районе. К тому времени кроме «Песни под пыткой» у меня было еще несколько стихотворений, и я решил объединить их в небольшом сборнике, который назвал «Через мост Мацукахана» — за этим мостом начинались заводы и трущобы, в которых ютились рабочие. Я включил в сборник стихи, протестующие против полицейского произвола. На долю сборника выпал большой успех — сначала у японских читателей, затем и у зарубежных.

Да, трудное было время, не всегда удавалось идти неуклонно вперед. И у меня случались ошибки, если быть самокритичным, и я порой шел не прямо, а зигзагами. Взять хотя бы «Песню под пыткой»:

Мы — пролетарии,  
мы — механизм,  
мы — сталь,  
мы — бессмертье!

Эти строки не были ложью, и все же теперь, когда я вспоминаю, каким я был в то время, «бессмертье» применительно к нам кажется мне преувеличением.

Таки Сигэру смущает заключительная строка стихотворения. Ведь человек всего лишь человек и тело его вовсе не бесчувственно к боли. Но дух его сильнее

плоти. Именно эту мысль о торжестве бессмертного духа, бессмертных идей над брэнной плотью хотелось выразить автору, и в этом сила его «Песни под пыткой». Мог ли думать иначе один из трех лучших поэтов-марксистов пролетарской Японии, очевидец и участник классовых битв?

Хозяин приглашает осмотреть сад. Журчание воды за окном я принял поначалу за шум дождевых струй, стекающих с крыши. Теперь я вижу: это течет вода из синей водопроводной трубы, что торчит из-под обломков скалы среди валунов, украшающих маленький пруд. Под сенью вечнозеленых сосновых веток плавают золотые рыбки. А рядом еще пруд, поменьше. В одном — десятилетние карпы, в другом — годовалые золотые рыбки. Все вокруг — дело трудолюбивых, заботливых рук Таки. Через трубу вода поступает с ближайшей горы, из источника, поясняет он. Поэтому пруды не замерзают и зимой. Мы фотографируемся на фоне прудов, созданных фантазией и любовью хозяина. Эти снимки мне дороги.

Таки Сигэру живет здесь уже тридцать с лишним лет. Когда-то на месте дома и сада были заросли мандаринов. Теперь, смеется он, плантации «Аритамикан» резко сократились.

Перед ужином Таки Сигэру предлагает нам отправиться на берег океана. С середины августа начинается время бурь, замечает он, оно продлится до конца октября. Мы садимся в машину. Тихий океан в километре отсюда. Переезжаем через мост, едем вдоль широкого устья Аритагавы, потом по узенькой улочке мимо деревянных домиков. В хорошо защищенной бухте слегка покачиваются рыбацьи суденышки, укрывшиеся от надвигающегося тайфуна. По небу мчатся рваные, еще не почерневшие до предела предгрозовые тучи. Океан не спокоен. Никто не купается — охотников рисковать жизнью нет.



Дорога уперлась в роскошное современное здание отеля «Арита канко хотэру». Оно нависло над обрывом в глубине залива, подобно «Ласточкину гнезду» в Крыму.

— Сколько здесь стоит номер?

— Суточная плата, включая стоимость ужина и завтрака, — пять тысяч иен. Если туристов человек двадцать, скидка до четырех тысяч.

Холл площадью метров тридцать на пятьдесят, высотой в три этажа. Мебель — модерн, цветной телевизор, вдоль задней стены сувенирные киоски, а впереди сквозь стекло во всю стену видны волны, бегущие прямо на нас.

— В сорок девятом и пятидесятом, — вспоминает Таки, — мы пережили страшный тайфун. Именно здесь, на юге страны, под влиянием океана зарождаются тайфуны, пересекающие потом всю Японию.

Отель — достопримечательность, привлекающая не только живописным зрелищем, но и знаменитыми банями. Собственно, это и не бани; в нашем представлении бани — несколько иное. Огромный зал, оформленный лучшими декораторами, где буйная фантазия человека создала бассейны с горячей целебной водой — в виде разрезанного поперек мандарина и в виде грота с квадратами зеркал.

Гордость отеля — бассейн «Аполлон», названный так в честь космического летательного аппарата. Он представляет собой вращающуюся вокруг оси кабину с бассейном внутри, движущуюся по канатной дороге над заливом на головокружительной высоте. «На что только не расходуются деньги?» — приходит невольно на ум, и вспоминаются ветхие домишки рыбаков, мимо которых ведет дорога в роскошный «Арита канко хотэру».

Когда мы вернулись в дом Таки Сигэру, уже стемнело. Усевшись, по японскому обычаю, на полу вокруг низенького столика, уставленного экзотической снедью, мы продолжали обмениваться впечатлениями.

Хозяйка, смотревшая до нашего прихода телепередачу, сказала, что сегодня зарегистрировано рекордное число посетителей ЭКСПО-70; к пяти часам вечера счетчики зафиксировали цифру 670 000. Во избежание столпотворения даже закрыли вход раньше времени...

Я обратил внимание на свиток, висящий на стене, с начертанными китайскими иероглифами и попросил Таки Сигэру расшифровать их смысл. В ответ я услышал следующее:

— Во время войны я увлекся поэзией Ду Фу. Это его стихи на свитке. На мой взгляд, Ду Фу, пожалуй, единственный в мировой литературе поэт, которого можно поставить в один ряд с Толстым: настолько глубоко проникает он в суть общечеловеческих, общесоциальных проблем. Как поэт я особенно заинтересовался поэзией Ду Фу, написал ряд исследований о его творчестве. Но все не было подходящего случая опубликовать записи, и я оставил их надолго без внимания. И вот совсем недавно один журналист попросил меня вернуться к моим черновым наброскам и подготовить их к печати. Весь этот месяц я опять занимался творчеством Ду Фу...

Таки Сигэру высоко ценит поэзию Ду Фу. В высокой оценке наследия китайского поэта сходятся многие авторитеты. Большой знаток китайской литературы Н. Т. Федоренко в предисловии к «Китайской классической поэзии» ставит в один ряд с Шекспиром, Софоклом, Еврипидом, Байроном, Гёте, Пушкиным, Гоголем, Толстым, Достоевским и «одного из величайших поэтов Китая — Ду Фу». Когда читаешь Ду Фу или хотя бы о Ду Фу, чья муза, по выражению Н. Т. Федоренко, была «музой ненависти к богатым и негасимой любви к беднякам», становится понятно, чем он увлек певца пролетарских масс Таки Сигэру.

Я позволю себе привести отрывок из упомянутого предисловия, чтобы читателю стало ясно, какими

мыслями и чувствами жил в годы войны японский почитатель китайского поэта. «Ду Фу явился продолжателем лучших традиций прошлого и основоположником новых традиций в китайской поэзии. Движимый патриотическим чувством, высоким стремлением служить своему народу, Ду Фу был полон глубокого участия к интересам простого народа, тревоги за судьбу своей родины...

В поэтических творениях Ду Фу, в его песнях выразились гневный протест и борьба поэта против господства мрачных сил, против всех жестокостей и тирании власть имущих, против неравенства и вопиющей несправедливости...

Ду Фу особенно близок нашим современникам своим глубоким пониманием борьбы народа за свободу, за лучшую жизнь, за право самим распоряжаться своей судьбой».

— Сейчас я прочитаю четверостишие Ду Фу, которое вы видите на свитке, — сказал Таки Сигэру. — Ду Фу сочинил его на закате лет в конце длительного путешествия, после которого умер. Я прочитаю стихи по-японски в своем переводе, а потом объясню, почему они висят у меня на стене.

И я услышал строки, которые по-русски звучат примерно так:

Когда плывешь в ладье весны,  
Вокруг как будто рай небесный,  
Но годы старости пришли —  
И кажется: цветы в тумане...

— Эти стихи удивительно точно передают мироощущение старости, — продолжает Таки-сэнсэй. — Они очень близки мне — человеку, которому уже за

шестьдесят. Мне приятно видеть их перед собой на стене, я испытываю при этом отрадное чувство...

Да, строки Ду Фу прекрасны, они о многом говорят умудренному опыту жизни и борьбы поэту Таки Сигэру. И все же мне кажется, что цветы предстают взору японского поэта отчетливо, во всем их красочном многоцветье — цветы неувядающей жизни. Ведь не случайно всего несколько лет назад Таки Сигэру написал стихотворение, преисполненное надежды, что еще расцветут цветы на его земле, цветы лучшей жизни. Свое стихотворение он назвал «Цветы морского прилива».

Цветы прилива непременно придут,  
Как бы ни было поздно.  
Крадучись, потихоньку они придут  
И заполнят собою все уголки  
Песчаного побережья —  
Подобно счастью, подобно любви!  
Незаметно омоют собою  
половину песчаного острова.  
Незаметно у ног моих  
забушуют, запенятся — зацветут!  
Акулы в тени камней  
выстроятся в артиллерийские батареи,  
И крабы испуганно выползут из щелей  
и заснут взад-вперед  
на своих белых когтях...  
О, мне кажется — я уже слышу  
Нарастающий гул прилива,  
Его победную песню...  
Цветы расцветут,  
Как бы ни было поздно!

...Уезжать не хотелось, но путь предстоял немалый. Прощаясь, я вновь и вновь оглядывал комнату, стараясь запечатлеть в памяти ее неповторимый облик. И казалось, будто Таки-сэнсэй негромко читал любимые строки великого Ду Фу, созданные тысячу с лишним лет назад и начертанные каллиграфической вязью на свитке, висящем в стенной нише.

На обратном пути из головы не выходили слова, сказанные поэтом: «В этих местах русские еще никогда не бывали...»

## «Почти Басё!»

Начало второго тысячелетия нашей эры ознаменовалось в Японии появлением прозаического произведения, какого не знала тогдашняя литература Европы. Академик Н. И. Конрад так перевел его название: «Повесть о блистательном принце Гэндзи». Автором его была придворная дама Мурасаки Сикибу.

В последний год XIX столетия, весной, когда апрельские вишни расцветали белым и розовым цветом, в городке Кумамото в семье, носящей самую распространенную в Японии фамилию — Сайто, родилась девочка. А семьдесят лет спустя, будучи известной поэтессой, она подарила мне свою книгу, надписав ее каллиграфическим почерком.

Почему я связал два этих имени, разделенных почти десятью веками? Хотелось напомнить о малоизвестном массовому читателю факте: о завидной судьбе женщин в истории японской литературы. Именно женщины почти полтора столетия задавали тон в литературе на стыке двух тысячелетий, именно они оставили потомкам свои творения на родном языке. Мужчины же, всегда и всюду кичившиеся своей ученостью, сочиняли на иностранном языке — китайском. «Мужские» книги, умозрительные шедевры тех лет, в основном канули в Лету. Слабый же пол оказался прозорливой — родной язык в отличие от чужого не испытал прихотей моды. Язык пережил века, а с ним и «женские» книги.

В последующее время мужчины, перенявшие опыт писательниц, вытеснили дам с японского Парнаса. «Женский» ренессанс наступает в конце XIX в., а наш век полностью возвращает женщине если не ее привилегированное положение в литературе, то во

всяком случае равные права с литераторами-мужчинами.

Яркой звездой взошла в лирической поэзии нового времени поэтесса Ёсано Акико. Ее прославленный сборник танка «Спутанные волосы», изданный в начале века, известен далеко за пределами Японии. Она затмила даже славу супруга — популярного поэта-романтика Ёсано Тэкан. В наши дни в жанре танка успешно выступает и переводившаяся у нас Асида Такако, возглавляющая журнал «Синкадзин» («Новый поэт»), Я знаю написанные верлибром отличные стихи осакских поэтесс Минатоно Киёко, Фукунака Томоко и токийской поэтессы Сиба Мацуё, чье стихотворение о бедной «Жанне Прохоренко из японской пекарни» произвело на меня не меньшее впечатление, чем встречи с автором и ее коллегами по перу.

Упомянутый ренессанс коснулся не только поэзии, но, пожалуй, еще больше прозы. Назову несколько имен.

Миямото Юрико. Выдающаяся пролетарская писательница.

Ногами Яэко. Еще в 30-е годы ее причислили к сонму ведущих «писателей-гуманистов».

Мацуока Ёко. До недавнего времени президент японского Пенклуба.

Сато Киоко. Театровед, первая из японских женщин, получившая в СССР ученую степень кандидата искусствоведения.

Амацу Кацу. Ее талантливое произведение «Отец не соизволит гневаться» (в 1972 г., в год издания книги, Амацу Кацу привезла ее в Москву) посвящено трагической судьбе публициста Моритака Умпэя, который в числе других одиннадцати во главе с революционером Котоку Сюсуюем был казнен в начале 10-х годов...

И наконец, — возвращаясь к поэзии, — Накамура Тэйдзё, чей вклад в развитие национальной поэзии бесспорен.

Поэтесса, как уже сказано, родилась в семье Сайто. Но почему Накамура?

— Девушки склонны менять фамилию, — улыбается, рассеивая мои сомнения, Накамура Тэйдзё.

Когда моей собеседнице исполнилось девятнадцать, она вышла замуж за молодого человека по имени Минэ и стала госпожой Накамура. А вот имя Тэйдзё — псевдоним. И история его такова. Как-то начинающая поэтесса отправила в литературный журнал свои стихи. Редактору они понравились, но он решил по традиции заменить имя псевдонимом. Так и вошел в мир поэзии новый автор — Накамура Тэйдзё.

Биография поэтессы не примечательна яркими эпизодами. Спокойная, хотя порой и кочевая, размеренная жизнь. Счастливая жена, счастливая мать. Раздумья над окружающей природой — каждый штрих ее находит отзвук в чуткой душе, переходит в образы микростихий.

Молодая семья с годовалой дочерью переезжает в Нагоя, затем в Сэндай, а в 1937 г. окончательно оседает в Токио. К токийскому периоду у четы Накамура прибавляется двое сыновей.

В тридцать четыре года госпожа Накамура становится членом поэтического общества «Кукушка» (по-японски «Хототогису»), общества, издававшего тот самый журнал (тоже «Кукушка»), в который она, будучи еще невестой, отправила свои первые стихи.

Первый сборник Накамура Тэйдзё — «Весенний снег» — вышел в свет в 1940 г., следующий — «Трехстишия Тэйдзё» — в конце войны, в сорок четвертом, а в послевоенный период ее книги издаются почти ежегодно. Итоговым собранием, вобравшим в себя все лучшее, как считает сама поэтесса, явились



«Трехстишия Накамура Тэйдзё». Это уже 1969 год. Более двухсот страниц насчитывает книга, изданная в серии «Современная поэзия хайку». Она составлена поэтессой, ею же прокомментировано каждое из двухсот семидесяти трех произведений. Могла ли подумать в начале века маленькая школьница Сайто, что пойдет по стопам поэта Басё, к которому не испытывала любви в те годы?

Я стою перед входом в музей Басё, находящийся в древней столице — Киото. Синее небо и лепестки расцветающей вишни — приметы весенней поры. У двери висят плащ поэта и соломенная шляпа — спутники его долгих скитаний по родной земле. Великий Басё — гордость национальной культуры. Его имя, его реликвии святы для каждого японца.

Позже я прочитаю у Накамура Тэйдзё похожее на исповедь признание. Оно касается Басё. Точнее, самой поэтессы, ее удивительно нетрадиционного прихода в чарующий мир японской лирики: «Кажется, это было в четвертом классе женской гимназии — в учебнике были помещены портрет и стихи Басё. Я не испытывала даже приблизительного интереса к трехстишиям, на уроках родного языка скучала и, как обычно, пропускала все мимо ушей.

Несравненно интереснее казались мне драматические произведения, которые я читала с упоением, самозабвенно. Втайне я даже презирала этого безалаберного Басё, который умер в конце путешествия от какой-то болезни.

Более того, я нисколько не задумывалась, что и по сию пору мне будет стыдно перед Басё за себя, какой я была в то время, что я буду испытывать необъяснимую муку».

Впоследствии поэтесса училась искусству трехстиший и у других прославленных мастеров хайку, учеников и последователей Басё — у Иссы и Бусона.

Высшей похвалой поэту, сочиняющему хайку, конечно, служит сравнение его с Басё. «Он пишет, как Басё», — что-нибудь в этом роде нередко можно услышать в разговоре с японцем или иностранцем, изучающим японскую культуру, когда заходит речь о каком-нибудь выдающемся явлении поэзии хайку.

Однажды в гостях у Романа Николаевича Кима, первого «красного профессора» — японоведа, тогда уже безнадежно больного, я услышал стихи, о которых хозяин дома восхищенно сказал: «Почти Басё!» Не помню, чьи это были строки, кажется, сочинил их монах-отшельник, живший в начале XIX века. Помню только большой в толстом переплете старинный фолиант, тисненый золотыми иероглифами, который достал вдруг с полки Роман Николаевич и раскрыл в нужном месте, о чем свидетельствовала единственная малиновая закладка. Он прочитал стихотворение вслух. Коротенькое трехстишие по-японски звучит еще короче, чем по-русски, но целый мир порою вмещают в себя эти семнадцать слогов, составляющих хайку.

Отшельник, или опальный поэт, уединившись в горах, вдали от людей, вел свой дневник. По прошествии дня он сделал в нем запись:

И всего-то событий за день —  
Еловая шишка  
С ветки упала!

Тогда же в кабинете Кима я перебрал несколько вариантов, перелагая миниатюру на русский, пока с его одобрения не остановился на этой редакции.

Роман Николаевич знал, что смертельно болен, но виду не подавал. Он был из породы «железных» людей. Смеялся, шутил, пересыпал свою быструю речь то русскими (если говорил по-японски), то японскими (если

говорил по-русски) словами, язвил по поводу каких-то незадачливых западных «фантастов-мизантропов», которые претили ему антигуманизмом своих творческих концепций. Но одно выдавало его подлинное, тщательно скрываемое от посторонних глаз душевное состояние — слегка помятая единственная закладка в толстом фолианте с золотым тиснением. Стихи отшельника, «почти Басё», говорили ему, томившемуся в четырех стенах, о чем-то неизмеримо большем, чем мог услышать я, молодой и здоровый. И все же я запомнил их на всю жизнь — как память о встрече с замечательным человеком.

Не знаю как японцам, но мне лирика Накамура Тэйдзё напоминает поэзию Басё — не подражанием поэту, а чем-то иным, несравненно более ценным, чего не выразить однозначными категориями. Дух ее творчества воскрешает в памяти великие эталоны искусства минувших столетий:

Сердце мое раскололось —  
И, вздрогнув, упали вы,  
О лепестки облетевшей розы!

И вот это:

И в утренней мгле, и в вечернем тумане  
Меняется мир —  
Если кольцо украсило руку!

Или это:

Внимает зимняя ночь  
Печальной судьбе ракушки,

## Растящей дитя — жемчужину...

Величаво и строго держится г-жа Накамура. Высокая, седовласая, стройная, в элегантном кимоно, если так возможно охарактеризовать этот национальный костюм; кимоно — эстетический синоним элегантности, олицетворение национального вкуса. Поэтесса — почетный гость Советского павильона. Ее встречают, как всех почетных гостей. Около двух часов я знаколю поэтессу с достопримечательностями павильона. Ей нравится здесь. Она сдержанна и немногословна, как сдержанны, но полны скрытой жизни ее трехстишия. Молодежь почтительно сопровождает г-жу Накамура. День ее строго расписан. Но как не задержаться у этих необычных экспонатов — черновики великих творений, ручки Толстого, которой писались страницы «Анны Карениной», бумажника Достоевского, пенсне Чехова, фильмов о живом Толстом, о Маяковском, о Шолохове?..

Ждут новые встречи, новые павильоны. Поэтесса тронута любезностью советских людей и, видимо, поражена увиденным, но сдержанность — ее вторая натура — не дает воли чувствам. Поэтесса благодарит, и я, пожалуй, впервые замечаю, как легкая тень человеческой теплоты меняет ее холодный, недоступный облик. Я вижу ее такой, как на портрете в «Трехстишиях Накамура Тэйдзё» — ласковая улыбка, добрые огоньки в черных глазах, проникающие сквозь стекла очков. Эту книгу и письмо с выражением благодарности поэтесса прислала мне вскоре после посещения павильона.

Современные хайку понравились мне своим изяществом и традиционной неожиданностью ассоциаций. Поправились при беглом знакомстве с

ними, при повторном же, внимательном чтении — покорили:

У межи на рисовом поле,  
Где застыла луна в воде,  
Замер голос лягушки...

Некоторые стихи я перевел тогда же на берегах Едогавы. Первое из них открывает книгу:

Ах, как пахнет ячменное поле!  
А споткнешься — и выпорхнет рой  
Искорок-светлячков.

Стихотворение датировано 8-м годом эры Тайсё, т. е. 1919 годом. Как известно, в Японии летосчисление ведется на свой манер, в соответствии с годами жизни правящего императора (хотя существует параллельно и отсчет от «рождества Христова»), Император Муцухито начал эру Мэйдзи (1868–1911), следующий император — эру Тайсё (1912–1925), а нынешнее правление — эра Сёва — ведет начало с 1926 г. Поэтесса Накамура родилась при императоре Мэйдзи, писать начала в эру Тайсё. Создавая произведения в традиционном жанре, она неукоснительно блюдет национальные традиции во всем. Отсюда и японская датировка: 8-й год Тайсё.

Читаю автокомментарий к первому стихотворению и ловлю себя на мысли, что это тоже своеобразный поэтический жанр, хотя проза лишена собственных хайку неизменных чередований слогов в строгом порядке. Да и размера нет, и строки длинные, и ритм более плавный, но аромат поэзии есть!

«В местах, где я родилась, у озера с искрящейся голубой водой летали огромные светлячки. В ночной

тиши среди цветущих овощей мерцали светлячки, зажигая свои яркие фонарики. В ту пору косили ячмень, отливающий золотом, и до самого берега тянулись сохнувшие колосья. И в самом деле, споткнешься, бывало, и обдаст тебя ароматом созревших колосьев. А испугнутые шумом и мчащиеся к бамбуковым зарослям светлячки красиво взлетят ввысь и укроют себя в спасительном мраке над голубеющим озером.

То было началом моего поэтического творчества, и эти несовершенные строки — воспоминания, милая сердцу память о далеких днях».

Следующее стихотворение написано сорок четыре года спустя, в 38-м году эры Сёва:

Как сердце, ты сжалась печально,  
Слушая шум дождя, —  
Веточка вишни...

Комментарий к трехстишию краток: «Дождь, идущий всю ночь, так и хочется назвать осенним... Застывшее от холода сердце шум дождя поминутно распарывает — шов за швом. Забыла даже, что рядом со мной в цветочном горшке — вишневое деревце».

Осень — не только пора унылых дождей. Осенью заготавливают дрова, сжигают опавшие листья. По соседству с домом, в котором когда-то жила поэтесса, часто жгли собранные в желтые кучи отжившие свое листья. Белый дымок тех костров до сих пор струится в немеркнувшей памяти:

Не могла наглядеться осенней порой  
На белый дымок  
Сжигаемых листьев!

«Почти Басё!» — повторил бы и я с гордостью за поэта-мужчину, но что-то останавливает меня, и, повинувшись зову сердца, я произношу: «Накамура Тэйдзё!»

## «Красная сосна» из Кобэ

Есть у меня на книжной полке две книги: одну подарил мне автор девять лет назад в Осака, другую — прислал он же недавно... Книги эти стоят рядом с другими, привезенными из Японии. И когда я просматриваю их, перед мысленным взором проходят чередой осакские встречи...

...Многолюдный, забитый транспортом и залитый неоновым светом рекламы центр Осака. Универмаги, отели, кинотеатры, кабаре... Все, что можно придумать, чтобы выманить деньги. На улице то там, то здесь попадаются большие жаровни — на горящих углях, словно грешники в адском котле, жарятся, потрескивая, каштаны. Продавец каштанов с деревянной мешалкой в руке, увлекающий в основном тех, кто не спешит домой, напоминает мне в вечерних сумерках Мефистофеля...

Сборник с дарственной надписью, в голубом переплете — стихи Акамацу Токудзи. Поэт родился в 1935 г. в 1959-м окончил русский факультет Института иностранных языков в Кобэ. Акамацу — член Общества изучения современной поэзии и Общества изучения советской литературы — в 1965 г. приезжал в Москву на Международный семинар переводчиков. Печататься начал еще студентом.

Год спустя после окончания института Акамацу женился на девушке по имени Сидзу. Жена — парикмахер. Малышу дали имя Рю, что в переводе означает «дракон».

— Какое страшное имя!

Акамацу смеется:

— Вырастет, станет сильным, как дракон, — И добавляет, не оставаясь в долгу: — Кстати, у нас с вами



взаимная тяга к необычным именам! Ведь по-японски слово «мамóно» — привидение, дьявол.

— И «Акамацу» звучит символично — «Красная сосна!»

Мы сидим в прилепившейся к громаде универмага «Ханкю» маленькой закусочной, на высоких круглых сиденьях, облокотясь о стойку. Все заведение в глубину — от стойки до выхода — около метра. За спиной колышутся на ветру три коротенькие занавески, отгораживая нас от прохожих. Сюда пригласил меня Акамацу-сан в ту далекую теплую осень...

Рядом черно-серый гигант — недавно выстроенный отель «Синханкю», где я прожил месяц и где впервые встретился с Акамацу. Уже немолодая хозяйка закусочной внимательно следит, чтобы глиняные рюмки величиной с наперсток не были пустыми и чтобы не остывало сакэ — рисовая водка, которую она греет в кувшинчике на спиртовке.

Акамацу Токудзи прочно связал свою судьбу с борьбой за мир, против засилья американцев на родных островах, за лучшую жизнь трудового народа.

В 1960 г. по всей Японии прокатилась волна протеста против японо-американского «договора безопасности», отводящего Японии роль атомного плацдарма США на Дальнем Востоке. Был сметен кабинет премьер-министра Киси. В борьбе участвовал и вчерашний студент Акамацу.

И еще эпизод: на угольных шахтах в Миикэ вспыхнула забастовка. Акамацу и здесь в первых рядах — член исполкома компартии района Западного Кобэ (Хигаси-Кобэ) префектуры Хёго, он ведет большую пропагандистскую и организаторскую работу.

И вместе с тем Акамацу — поэт, вопросы литературные волнуют его не меньше, чем общественно-политические проблемы.

Первое стихотворение Акамацу Токудзи, «Летний полдень», датировано 1956 годом. Я видел его стихи, его переводы из Вознесенского и Рождественского.

О чем же пишет поэт? О бастующих шахтерах Миикэ («Ночь в Омута»), о положении рабочих («Зимнее море»), о борьбе против ненавистного народу «договора безопасности» («Смерть девушки»). Есть стихи об Алжире, о расизме, стихи антивоенные.

Романтикой борьбы за светлые идеалы пронизана книга поэта «Во гневе...».

Счастлив сражающийся за правое дело на баррикадах, под алым стягом, трепещущим на ветру. Но поэт, пишущий о революции, испытывает не только радость победы, но и боль поражения, горечь потерь и страданий.

...Воздушные налеты, эвакуация, бесконечные передвижения, тревоги и страхи, еда — горстка бобов или пара картофелин. Таким запомнилось моему собеседнику детство. Учеником четвертого класса он встретил весть о конце войны. А потом — демобилизация, возвращение отца, хаос разрухи, голод, смерть старшей сестры, а вскоре и старшего брата... «С тех пор я стал размышлять о человеческой жизни и обществе», — пишет поэт в послесловии к своей книге.

Раздумья неизбежно приводят к выводу: несправедлив, бесчеловечен социальный строй, порождающий войны, трущобы, голод... Раздумья облекаются в стихи. Поэзия, по словам Акамацу, нанизала на одну вертикаль внутреннее, интимное, и внешнее, действительное, стала как бы мостом, соединяющим субъект с окружающим миром.

— В чем видите вы долг поэта, цель его жизни? — спрашиваю я Акамацу.

Он не задумываясь отвечает:

— Известный поэт Миядзава Кэндзи сказал: «Пока в мире существует горе, это горе — горе поэта. И долг

подлинного поэта стремиться к тому, чтобы на земле не было горя». Вопрос о долге поэта не только политический, но и чисто человеческий. Поэт должен идти впереди. Все замечательные поэты мира всегда шли впереди. Я, коммунист, стою за новый социальный строй. Подлинный поэт всегда коммунист. Поэт меняет человека и изнутри. Мне кажется, это самая важная его задача.

— Читаете ли вы лекции в Осакской литературной школе? Я знаю, у вас там много друзей...

— Меня очень интересует литература, но я слишком занят общественной работой. Жаль, что из-за недостатка времени не могу выступить с лекцией о советской литературе. Однако, с моей точки зрения, более важна дружба с Советским Союзом. Ради этого я и работаю в Обществе дружбы. Наша дружба с Советским Союзом должна быть более глубокой, внутренне необходимой для каждого.

— Каковы ваши планы на будущее?

— Очень хотелось бы еще раз побывать в Советском Союзе. Хочу издать сборник стихов Андрея Вознесенского в переводе на японский язык.

— Почему именно этот поэт привлек ваше внимание? Насколько мне известно, в Японии вы первый его переводчик?

— Почему? Тематика его стихов интернациональна, и это не просто нагромождение образов. Вознесенский стремится испытать новые формы. Поэзия — это прежде всего искусство, а уж потом культурное оружие человечества. Он пишет о современной советской молодежи, выражает ее мысли, чаяния. Очень хотелось бы его увидеть, получить от него предисловие для японских читателей.

— Кого из поэтов, японских и наших, вы могли бы назвать в числе любимых?

— В Японии — Оно Тосабуро, Хасэгава Рюсэй, в России — Пушкин, из современных — Твардовский, конечно Вознесенский, а также Рождественский.

Акамацу порывист, полон энергии. Кажется, он никогда не спит — масса мероприятий, ведь он ответственный секретарь местного филиала общества «Япония — СССР».

— Лирических стихов пишу мало. Стремлюсь критиковать себя и действительность. Личность неотделима от общества. Нравственное совершенствование индивидуума неотделимо от коренного переустройства социальной системы.

...Акамацу говорил еще долго. О поэзии, о жизни... Говорил горячо...

Воспоминания об осенних осакских встречах навевают на меня книги, стоящие на полке, и особенно та, в голубом переплете, — подарок Акамацу Токудзи...

## **Хайку, сочиненное в России**

Арасияма — то ли городок, то ли предместье Киото. В апрельских лучах южного солнца белеют горы: здесь еще вишня в цвету, хотя в других районах Японии пора цветения уже кончилась. Вода сверкает на перекатах перед искусственными водопадами высотой не больше метра. Мост через Ходзугава усеян людьми, берег, утопающий в зелени, — тоже. Арасияма — излюбленное место отдыха. Здесь конечный пункт знаменитого пути, который проделывают туристы на старинных лодках. В верховьях реки, на лодочной станции, стоят, ожидая пассажиров, просторные, длинные, узконосые, плоскодонные ладьи, вмещающие человек пятнадцать. Лодочники в широкополых соломенных шляпах — один на корме, рулевой, другой на носу с шестом в руках и двое с веслами — народ бывалый. Кажется, еще мгновение — и бурный поток разобьет о скалы летящую лодку, но спасительный шест выводит ее в безопасное место. Когда-то эти лодки перетаскивались волоком по берегу Арасияма в верховья Ходзугава. Теперь на смену местным бурлакам пришел многосильный транспорт. Рабочих рук стало меньше, доходов — больше.

Несколько лет назад я попал в Арасияма впервые после часа головокружительной гонки вниз по течению, а сегодня приехал сюда на электричке, потратив тоже примерно час. Мои спутники — г-жа Яманоути, пожилая женщина, сестра известного знатока русского языка, популяризатора советского искусства в Японии г-на Яманоути, и молодой человек по фамилии Кобаяси, сотрудник рекламной фирмы, с матерью-поэтессой.

Узнав, что я интересуюсь японской поэзией и культурой, они тотчас же упомянули имя своего

знакомого — профессора Канэко, ученого, искусствоведа, поэта.

...Профессор Канэко, худой, выше среднего роста старец, видимо, действительно очень уважаемый человек. Мои спутницы, не говоря уж о молодом человеке, почтительно склонились перед ним, опустившись на колени, долго и церемонно выказывая свое уважение и радость по поводу встречи.

Профессор Канэко — полная противоположность своей супруге — маленькой, энергичной, говорливой женщине. Он величав, медлителен, скуп на слова, но оба одинаково любят шутку. Канэко-сэнсэй считает, что его супруга слишком стара для него: ему ведь только восемьдесят три, а ей уже семьдесят восемь. Трудно поверить, однако, что эти цифры реальны — оба они побывали в тот день у нас в павильоне, на праздничном концерте, но я не замечал следов усталости на их лицах.

— Я вегетарианец, поэтому так долго живу и чувствую себя юношей, — смеется профессор. — Мясо укорачивает жизнь.

Нас усадили за японский столик. Под столиком в полу оказалось квадратное углубление, прикрытое ватным одеялом, под которое мы и просунули ноги. Там, внизу, горел электрический камин и было жарко как в печке. Это старинное японское обогревательное приспособление (электрокамин заменяет теперь жаровню с углями) оказалось совсем нелишним в ту запоздалую весну семидесятого года — говорили, что таких холодов не было уже лет пятьдесят.

Русских гостей в этом доме еще не принимали. Профессор достал плотно упакованный, тщательно перевязанный сверток. В нем оказались чаши, напоминающие пиалы.

— Из такой чаши самый вкусный чай...

Чаши выглядели очень внушительно. Такие я видел в витринах антикварных лавочек и, конечно, ошибся в предположениях: они были не японские, а китайские, трещинки же и прожилки свидетельствовали об их почтенном возрасте.

— Это изделия китайских мастеров. Им лет восемьсот. Еще в эпоху Сунской династии сделаны, — с гордостью произнес профессор, большой знаток китайской старины, обладатель коллекции уникальных старинных вещей.

Зеленый японский чай и в самом деле казался особенно ароматным в этих древних китайских сосудах.

Профессор Канэко — специалист по истории Западной Европы, по искусству и живописи Запада и Востока, в частности Китая, автор многочисленных исследований, главным образом по китайскому искусству. Он подарил мне последнюю свою работу, посвященную китайским художникам, — «Живопись Китая». Книга знакомит с жизнью и творчеством многих выдающихся мастеров, начиная с глубокой древности и до конца XIX в. Она появилась на прилавках магазинов в 1967 г., а два года спустя была переиздана.

Поэзия — тоже специальность Канэко-сэнсэя, но ей уделяется меньше времени. Когда-то в молодости все обстояло иначе. Студент Канэко увлекался традиционным стихосложением, с упоением зачитывался поэтическими миниатюрами, которые печатались в журнале «Кукушка». Его любимым стихотворцем был и остается крупнейший поэт и реформатор танка Сайто Мокити (1882–1953). Как утверждают японские литературоведы, принципы первого сборника Сайто Мокити, «Красный свет» (1913), где поэт нарушил традицию изображения природы и попытался отразить жизнь современников, повлияли на современные танка.

Что же думает о поэзии профессор Канэко?

— Японская поэзия — я имею в виду хайку и танка, — японская живопись принципиально отличаются от поэзии и живописи европейской. Если творчество европейских мастеров — это «космос», то японских — «микромир». Взять, к примеру размер: танка — тридцать один слог, а хайку и того меньше — семнадцать. Европейцы часто считают, что отличие хайку от танка только в размере. Это не совсем так. Танка предполагает строгий набор канонизированных слов и тем, хайку — все что угодно. Вот на столе стоит пепельница, я могу воспеть ее в хайку, в танка же включить такое слово нельзя. Речь идет, разумеется, не о современной поэзии, а о классической. В хайку можно употреблять любые слова — и буддийскую терминологию, и синтоистскую, и вульгарную, и обиходную.

Мой собеседник то и дело пересыпает японскую речь английскими словами. Он жалеет, что я не говорю по-немецки: было бы замечательно освежить в памяти еще не совсем забытый немецкий! В 1914 г., окончив Императорский (ныне Токийский) университет, будущий профессор отправился пополнять свое образование в Германию и окончил также Берлинский университет.

Как давно это было! Удивительно, передо мной сидит человек, пересекший всю нашу страну почти полвека назад — по пути из Германии на родину. И этот человек, как принято говорить, еще в полном расцвете творческих сил.

Профессор вспоминает о своем путешествии через Россию и не скрывает столь характерного для японца, побывавшего в нашей стране, изумления ее грандиозными масштабами.

— Я вел дневник, иногда записывал впечатления в стихах. Хотите послушать хайку, которое я написал, когда ехал по Транссибирской железной дороге? Дело



было зимой, я любовался необъятными просторами Сибири. Тогда-то и родились эти строки.

Поэт читает по-японски хайку, сочиненное в России, а я перевожу — «микромир» вмещает в себя «космос»:

Беспредельность равнин!  
Опускается в снежное поле  
Сибирское солнце...

Я был благодарен поэту, чья редкостная память сохранила для меня, человека иного поколения, это хайку — одно из первых стихотворений в Японии, посвященных моей Родине. В тот же вечер я пригласил его с супругой и друзьями — моими спутниками — на праздничный юбилейный концерт в честь столетней годовщины со дня рождения В. И. Ленина.

Так профессору Канэко представился случай вторично подивиться необъятности нашей страны, талантам, собранным со всех уголков ее и доставленным сюда, в Японию, в этот роскошный концертный зал Советского павильона.

Я же увез на память о встрече в Арасияма хайку о Сибири...

## **Башня, ведущая в небо**

У меня на столе сувениры, привезенные из Японии: Диплом с начертанными тушью иероглифами — искусство современного каллиграфа, шахматы, ажурный макет Осакской башни, чем-то напоминающей Эйфелеву. Они мне очень дороги. Это награды. Это память о японской земле...

«Цутэнкаку-тава» означает в переводе с японского «Башня, ведущая в небо». О великолепии вечернего освещения башни можно судить по рекламному проспекту «Ночной вид Осака ценою в один миллион долларов!» Именно так и сказано в путеводителе по «Цутэнкаку-тава», статрехметровой башне, с которой взору туриста открывается столь дорогостоящая панорама.

Цена входного билета — двести пятьдесят иен, немногим больше половины доллара. Плати — и поднимайся, «воспользовавшись единственным в мире круговым подъемником», на самый верх этого ультрамодернового сооружения или поближе — на второй, третий этажи, где разместились рестораны и сувенирные киоски. Можно спуститься и вниз, в подземные этажи: к вашим услугам роскошный аквариум, где в сказочном сплетении оранжевых, голубых, лиловых, зеленых волн искусственного света плавают увеличенные толщей воды морские чудища и диковинки — от маленьких, меньше мизинца, рыбешек с отчетливо видимым скелетом до рыб-мясоедов. Южноамериканские хищницы пираньи — гроза пловцов! Нельзя удержаться от искушения покормить с ладони карпов, тем более что каждый стоит сто пятьдесят тысяч иен.

Туристская фирма «Цутэнкаку-канко», владеющая башней, не жалеет средств для привлечения туристов. В какой-то мере этим целям послужил и Международный шахматный турнир, организованный на открытой веранде башни, на высоте двадцати одного метра, в один из дней июля, когда по всей Японии проводились обряды поминовения умерших.

Турнир привлек внимание многих любителей шахмат Японии. Он был организован в память знаменитого Саката Санкити, о котором в специальном письме, присланном в Советский павильон на ЭКСПО-70 с приглашением принять участие в турнире, говорилось, что это «величайший игрок в сёги<sup>[7]</sup>, когда-либо живший в Японии». В октябре 1955 г. он был удостоен высшей награды — титула чемпиона Японии, короля шахмат.

...С гравюры на нас смотрело умное, чуть утомленное лицо прославленного японского мастера. Близ алтаря, украшенного жертвоприношениями, горели не задуваемые легким ветерком свечи: буддийские священники были в кимоно оранжевого цвета. После молебна каждый участник предстоящего Международного турнира поочередно подходил к алтарю, брал с возвышения щепотку зерен, похожих на перец крупного помола, подносил к лицу и с поклоном высыпал в сосуд, стоящий перед изображением Саката Санкити. Жужжали камеры, щелкали затворы фотоаппаратов — корреспондентов газет, телевидения, радио было не меньше, чем участников матча. Но вот окончился религиозный церемониал, и все обратились к делам мирским: началась жеребьевка.

Участники турнира составили две группы: японскую и европейскую — соответственно виду шахмат: сёги или чес (английское слово «chess» вошло в японский язык для обозначения европейских шахмат). Европейцы,

работники павильонов ЭКСПО-70, представляли свыше семидесяти стран мира. От Советского павильона выступали четверо — переводчица Галина Барина, инженер Евгений Ильин, переводчик Игорь Пашинцев и я. Условия были равными, играли по олимпийской системе, и, конечно, каждому хотелось выиграть независимо от политических симпатий и антипатий. Первая моя партия, волею рока, была с директором Бельгийского павильона Де Рокером. Бельгийский павильон находился рядом с нашим. Рассказывают, когда выбирали место для постройки павильонов, бельгийцы заявили, что им все равно где, лишь бы рядом с павильоном СССР. Почему? В любом случае, ответили они, понравится Советский павильон или нет, посетителей там будет достаточно, а значит, какая-то часть их наверняка заглянет и в павильон Бельгии. Что ж, их дальновидность себя оправдала, ибо почти все посетители Всемирной выставки ЭКСПО-70 побывали в Советском павильоне.

Де Рокер проиграл, и мы рыцарски обменялись рукопожатием. Не будь этой встречи, я не узнал бы, что мой худощавый с аристократическими манерами противник во время войны был освобожден из фашистского плена русскими солдатами. Он до сих пор испытывает к ним чувство признательности и уважения.

Победив португалку и мексиканку, чемпионкой среди Женщин стала Галина Барина.

Острой и, вначале казалось, безнадёжной для нас была партия Игоря Пашинцева с представителем Португальского павильона. Вокруг играющих столпились болельщики. Лишь в конце партии Игорь буквально несколькими ходами изменил положение в свою пользу, и мы облегченно вздохнули: в финал вышли все три советских шахматиста.

В решающей партии на звание чемпиона встретились Евгений Ильин и я. После двух часов

напряженного боя победителя не оказалось. Судья зафиксировал ничью.

Как быть? Кто же чемпион? С этим вопросом не отходил от меня Нисмкава-сан, отвечавший за организацию турнира (мы познакомились с ним еще раньше, в период совместной работы по подготовке турнира). Оказывается, устроителями турнира были заготовлены дипломы разного достоинства.

— Давайте бросим жребий, кому быть первым, — предложил Нисикава-саи.

Женя Ильин воспротивился, я поддержал его. Было решено не устраивать дополнительного матча, а сделать два одинаковых диплома.

...Турнир окончился. Столики опустели. Ветер гонял по полу пустые стаканчики из-под кока-колы. С гравюры на нас смотрело умное, чуть утомленное лицо покойного чемпиона...

Ожидая вручения наград, я разговорился с японцем, с которым познакомил меня корреспондент «Иомиури».

— Хочу представить вам моего друга Кумагаи, чемпиона Осака по японским шахматам, — сказал он.

Для меня это было приятной неожиданностью — мне впервые представилась возможность поговорить с настоящим японским чемпионом.

Мой собеседник — ровесник мне, у него двое детей: девятилетняя Наоми и одиннадцатилетний Кацухико. Кумагаи-сан — чемпион Осака. Кто знает, не ему ли уготовано судьбой скрестить шпаги с чемпионом Японии сорокашестилетним токийцем Ояма Ясухару? Разумеется, шахматная корона — мечта любого шахматиста. Но трудно, очень трудно пройти через суровые испытания на пути к заветной цели.

Кумагаи-сан подробно рассказывает о системе отборочных, промежуточных и национальных соревнований, о том, что представляет собой игра в сёги.

Много раз я бывал в Японии, но все как-то не было случая освоить эту красивую и увлекательную игру. Кажется, этот случай наконец представился.

Что же такое сёги? Некоторые называют эту игру «дальневосточными шахматами», считая, что она распространена в странах Дальнего Востока. Но это не совсем точно, и Кумагаи-сан подтверждает: сёги — чисто японский вид шахмат; в Китае или Корее есть свои шахматы, сходные с сёги.

Подробное описание этой игры на русском языке впервые было дано полвека назад М. М. Васильевским, повторно — в «Неделе» (4–10 июля 1961 г.): на последней ее странице есть изображение всех фигур и краткое изложение правил игры. Правда, игра названа не сёги, а шогги — так раньше было принято транскрибировать.

...К концу дня Международного шахматного турнира памяти Саката Санкити в «Цутэнкаку-тава» нам принесли свежие, пахнущие типографской краской вечерние газеты со снимками участников турнира. Но разговор с Кумагаи-саном еще не окончен.

— Как организуются в Японии шахматные соревнования?

— У нас две организации шахматистов, соответственно двум видам шахмат: «Нихон сёги рэммэй» и «Нихон чес кёкай».

Кумагаи-сан на мгновение умолкает, а я делаю пометки в блокноте, с которым не расставался во время пребывания в стране. Как быть с переводом названий этих организаций, думаю я. И то и другое можно перевести: «Шахматная федерация Японии» (или «ассоциация»). Но как быть с «сёги» и «чес»? Пожалуй, эти слова следовало бы поставить в скобки: «Шахматная федерация Японии (сёги)», «Шахматная ассоциация Японии (чес)». А если обойтись без пояснения в скобках? «Японская федерация сёгиистов»

и «Шахматная ассоциация Японии»? Пожалуй, так будет лучше.

— «Нихон сёги рэммэй», — продолжает мой собеседник, — проводит соревнования сёгиистов. Вернее, через федерацию осуществляется связь между игроками и влиятельными газетами, которые финансируют и устраивают матчи. Без этой финансовой поддержки не может состояться ни одно состязание. Два года назад, например, чемпионат Японии проводился газетой «Ака-хата» — органом Компартии Японии, но завершить его не удалось.

— Каждый участник соревнований на первенство страны должен сыграть сорок партий. В это число входят партии не только национального матча, но и предшествующих ему отборочных соревнований. Бывает, число сыгранных партий колеблется от тридцати до пятидесяти. Партия продолжается два часа — по шестьдесят минут на участника. Первые, так сказать, низовые соревнования проводятся между спортсменами низшего квалификационного разряда «сандан» (дословно «третья ступень»). Тринадцать игроков третьей ступени должны сыграть между собой по двенадцать партий. Занявшие первое и второе места переходят в следующую, четвертую ступень — «ёндан». Тринадцать сильнейших из них также играют между собой по двенадцать партий. Победители (занявшие два первых места) переходят в следующую группу — «годан» (пятая ступень). Дальше события развиваются аналогично, с той лишь разницей, что победитель последней восьмой ступени становится чемпионом Японии и получает денежную премию. Подобные турниры проводятся с апреля по июнь. В них участвуют только профессионалы.

— Что это означает?

— Профессионалы этим живут. Деньги им платят газеты, берущие на себя подготовку соревнований,

рекламу и прочее.

— Сколько же получает чемпион Японии?

— О, это секрет! — смеется Кумагаи-сан. — Доходы чемпиона известны только тем, от кого он получает деньги, и тем, кому он платит налоги.

Как бы там ни было, а обладатель титула чемпиона — значительная фигура в Японии, он пользуется почетом и уважением в широких общественных кругах.

— Как же появляются игроки-профессионалы?

— Японская федерация сёгиистов имеет разветвленную сеть своих филиалов по всей стране. Существует множество местных клубов, в которых обучаются начинающие, играют любители. С ростом мастерства любитель может стать профессионалом.

— Играют ли в сёги где-нибудь за пределами ЯпоНИИ?

— Нет-нет, это чисто японская игра.

— Популярны ли в Японии европейские шахматы?

— Менее популярны, чем сёги, они только «осваиваются». Однако следует отметить, что в популяризации chess большую роль играет Шахматная ассоциация Японии. Она объединяет уже около трехсот шахматистов и издает ежемесячный бюллетень.

— А соревнования проводятся?

— Да, победитель нынешнего всеяпонского турнира — мой хороший друг Хигаси Кохэй, он живет в Токио. Недавно в составе японской команды он участвовал в Международном шахматном турнире в Сингапуре.

— А нельзя ли с ним увидеться? Ну, скажем, когда он приедет к нам на ЭКСПО-70?

— Охотно вас познакомлю... Сегодня же позвоню ему в Токио.

Разговор о токийском чемпионе завершился неожиданно возникшей идеей: а что если устроить



товарищеский матч между японскими шахматистами и сборной Советского павильона на ЭКСПО-70? Есть же в Осака члены Шахматной ассоциации Японии?

— Да, конечно, — подтвердил Кумагаи. — В Киото, например, живет второй шахматист Японии — профессор Тандай. Он чемпион района Кансай, где проживает примерно треть населения страны.

Кумагаи-сан оказался весьма предприимчивым. Он переговорил с ведущими мастерами шахмат и вскоре позвонил мне — предложил команду из пяти человек. Однако накануне турнира по просьбе японской стороны число участников было увеличено до восьми, в состав команды вошла одна женщина.

Утром 11 августа мы вышли встречать японских гостей. Как обычно, перед входом струилась нескончаемая река посетителей, впадавшая, словно в тоннель гигантской скалы, в павильон СССР. Река текла, сдерживаемая не только поразительной выдержкой и дисциплинированностью японцев, но и искусственными берегами ажурных перегородок.

Как почетных гостей встретили мы сборную команду шахматистов Японии. Каково же было наше удивление, когда выяснилось, что среди пришедших (а пришли шахматисты с семьями, ведь это был повод посмотреть Советский павильон, о котором только и говорили по всюду) чемпион Японии Хигаси Кохэй.

На втором этаже павильона временно закрыли доступ к читальному залу. Посетителей встречал огромный щит с надписями на двух языках: «Привет японским и советским участникам Международного шахматного турнира».

Расставили столики, завели часы. Бросили жребий. На первой доске — Хигаси Кохэй и Евгений Ильин, на второй — профессор Тандай Коити и я. Все было как на настоящих международных турнирах, с одним лишь «но». Мы представляли лишь незначительную

территорию нашей страны, павильон СССР, перед нами же была сборная целой страны, Японии. Можно представить себе наше состояние. Волновались, правда, не только мы, но и наши противники: для них мы были представителями могучей шахматной державы, и кто знает, как обернется дело. Чаша весов колебалась то в ту, то в другую сторону. После упорной борьбы выиграл чемпион Японии Хигаси-сан. Но все же счет был 4: 3 в нашу пользу. Оставалась последняя недоигранная партия — моя.

Тандай Коити, мой противник, выглядит очень молодо, хотя уже имеет звание профессора и преподает на физико-математическом факультете Киотоского университета. Он немного объясняется по-русски и убежден, что стать настоящим шахматистом без знания русского языка невозможно.

Играли мы осторожно, прощупывая друг друга, и в результате счет стал 5: 3 в нашу пользу. Этот турнир доставил нам не только много тревог, но и немало приятных минут. На приеме в честь участников турнира администрация Советского павильона вручила гостям сувениры. Расстались мы друзьями с надеждой на новые встречи.

## **С медведями — в медвежий край**

...Кочевавшие по городам Японии черные мохнатые мишки задыхались. Володя Белавин, работник Московского цирка, обладатель медвежьей силы, обкладывал клетки глыбами искусственного льда. Признательно принимали его заботу четвероногие артисты.

...В июле японское солнце затянуто обычно пеленой дождя, но в те дни было ослепительно светло и нестерпимо душно.

Вот ваш билет на поезд, по приезде вас встретят, — сказал мне в токийской конторе г-н Ямагути, представитель фирмы, пригласившей летом 1968 г. на гастроли в Японию цирковых артистов социалистических стран.

Среди советских участников был и прославленный дрессировщик медведей народный артист СССР Валентин Иванович Филатов.

Токийский железнодорожный вокзал огромен и на первый взгляд беспорядочен, как, впрочем, все вокзалы больших городов. Воскресный день после полудня... Толпы людей — торопливо идущих и терпеливо стоящих у четко очерченных полос с номерами вагонов, которые должны остановиться именно в этом месте, носильщики в красных форменных фуражках, пронзительные гудки прибывающих и отъезжающих поездов. Найти платформу и нужную полосу с номером вагона оказалось совсем непросто в сутолоке лабиринтов, какими представились мне ведущие к поездам Токийского вокзала подходы. Позже я замечал не раз, что и японцы порой ориентируются здесь с трудом, это

несколько утешало. Но вот экзамен мой позади. Электричка уносит меня на северо-восток, в направлении Тохоку — своеобразного географического района страны.

Еще со студенческих лет мне запомнился этот район по лекциям профессора Константина Михайловича Попова, который не только увлекал нас своими рассказами о Японии, своей влюбленностью в географию, но и неукоснительно требовал самого тщательного запоминания малейших изгибов береговой линии, бесчисленных заливов, выступов и островков, речушек, возвышенностей... Как пригodiлось мне все это здесь, даже в электричке, в этом почему-то почти пустом вагоне!

Рядом со мной сидит пожилая женщина в кимоно. По манере держать себя и даже как-то по-особенному курить сигарету она напоминает даму из высшего общества. А может быть, это вовсе не современная светская дама, а какая-нибудь фрейлина, блиставшая при императорском дворе в Киото столетий семь назад? Верят же миллионы японцев (по крайней мере так утверждает статистика) в перерождение, и чем праведней прошла жизнь, согласно буддийскому учению, тем лучшая судьба ожидает в будущем. Когда мы с дамой разговорились, я поделился с ней своими догадками. Мой исторический гороскоп ее позабавил: рассмеявшись, она ответила, что уж я-то, наверно, в прошлой жизни был...: ковбоем. Я улыбнулся, и не только из любезности — такое «прошлое» мне не могло бы прийти в голову. Отличное токийское произношение моей спутницы (не диктор ли она, мелькнула мысль) резко диссонировало с диалектом сидящих напротив парней-студентов. Они возвращались домой, совершив восхождение на Фудзияму — священную для японцев горную вершину. Трудно сказать, достигли они высоты 3776 метров или остановились где-то на полпути, но это

не главное. Студенты везли Домой сувенир — кусочек святого камня размером с полупудовую гирю. Я невольно подумал, что слухи об «исчезающей Фудзияме» (об этом писал в «Правде» Всеволод Овчинников) не лишены оснований.

Япония, убеждаешься, не такая уж маленькая страна. От длительного пребывания в вагоне она кажется протяженнее, чем представляешь ее по карте. Один за другим выходят студенты. За окнами проносятся всё те же пейзажи: рисовые поля, прижатые к рельсам крутыми холмами, домики с синими крышами, поросшие мелким кустарником невысокие горы, и снова крошечные поля, и снова домики, домики — и все почему-то с синими крышами. Это и есть Тохоку, северо-восточный район Японии. Здесь и свои ландшафты, и свой диалект, и свои легенды...

Спутница моя давно молчит, не скрывая своего разочарования: иностранец оказался не американцем. Поклонница западной культуры, она сдержанно и сухо дала мне понять, что существует грань между «этим» миром и «тем».

Вспомнилась почему-то распространенная в этих местах легенда о снежной женщине. У поэта Огума Хидэо, воспевшего северный край, есть даже стихотворение «В поисках снежной легенды» (оно написано свободным стихом). Мысленно повторяю строку за строкой в русском переводе, сделанном мною незадолго до этой поездки. «В поисках снежной легенды», может быть, и не лучшее произведение Огума, но оно об этих краях:

Захватите с собой, пожалуйста,  
Альпинистское снаряженье.  
Потому что этот товар, заполнивший рынки,  
Недорог.  
Потому что этот товар — из числа игрушек.

В Японии нет ничего, что еще не испытано.  
И, разумеется, нет ни единой вершины —  
Девственной.  
Так храбро сбиваются с троп альпинисты,  
Что даже отроги и бездны  
Ахают от изумленья!  
С той же храбростью действуют  
И отряды спасателей.  
В поисках снежной легенды  
Приезжайте в район Тохоку.  
Наверно, во время метели  
Вам повстречается снежная гейша —  
В белой накидке,  
Со сверкающими булавками в волосах.  
За гейшей плетется старик,  
Плача от холода, еле держа  
Узелок с поклажей...  
Приезжайте и вы таскаться за нею:  
А вдруг она во дворце  
С вывеской «Дом терпимости»,  
Сбросив с себя снеговую одежду,  
Явит  
Красивый искусственный шелк  
Белья  
И пригласит вас...

У причала стоит огромный паром. Остров Хоккайдо отделен проливом от центрального острова Японии Хонсю, от района Тохоку. В ночном воздухе едва улавливается аромат океана. Вода — черная, как нефть, загрязненная мазутом. Корма парома — словно разверстая пасть дракона — медленно заглатывает автомобили. Они тянутся по металлическому настилу, переброшенному с парома на бетонный мол. Какими крошечными кажутся эти «Тоёта» и «Каппа» рядом с

гигантскими грузовиками-контейнерами, в которых не спят, предчувствуя что-то неладное, вышколенные медведи! Капитан озабоченно всматривается в непроглядную темень, рассекаемую светом маяка. Ожидается тайфун, но не исключено, что он минует зону пролива, пройдет по касательной. На всякий случай грузовики прикрепляют к парому дополнительными цепями с набором болтов, напоминающих разрезанные пополам гантели. Внутри паром кажется мне размером с гигантский сталеплавильный цех металлургического комбината в городе Муроран, тоже на Хоккайдо (я побывал в нем совсем недавно). Только там не было этих тесно жмущихся друг к другу автомобилей и автомобильчиков, а были рельсы и вагонетки с ковшами, дышавшими раскаленным металлом в пустоту трехэтажного простора... На соломенных матах лежат вповалку пассажиры — кто спит, кто дремлет. Путь предстоит немалый, к утру, если не задержит тайфун, покажется остров Хоккайдо, «медвежий угол» Японии.

...Удача сопутствовала нам — после быстрой выгрузки многотонные машины увозят нас дальше на север — в Асахигава, в Саппоро.

Жителей Хоккайдо не удивишь медведями. У них прекрасный медвежий заповедник, куда можно попасть по канатной дороге. Скорее это своего рода зоопарк на лоне природы. Здесь тьма сувениров с изображением медведя в самых различных видах. И все же, когда цирк обосновался в городе Асахигава, в ста Шагах от озера, в котором в тот день, единственный раз в году, в специально отведенные часы, разрешалось ловить рыбу, — поглазеть на любимых животных стеклось народу не меньше, чем стояло с удочками у воды. Интерес к выступлениям цирка, особенно к медвежьему аттракциону, был очень велик.

Никогда не забуду, как в городе Аомори незадолго до нашего переезда на Хоккайдо в первых рядах зрителей я увидел двух пожилых женщин. Одна из них держала на коленях портрет мужчины, обращенный к арене. Лица женщин казались измученными и очень печальными. Японские друзья сказали мне, что это, наверно, портрет больного или умершего. Так оно и оказалось. Мы окружили женщин особым вниманием, пригласили к самому «королю медведей». Валентин Иванович Филатов был очень растроган, когда они поведали ему свою историю. Глава семьи часто хворал, но последнее время почувствовал себя легче. Известие о скором приезде медвежьего цирка действовало лучше всяких лекарств. В семье только и разговоров было, что о Филатове из Советского Союза. И вдруг перед самым прибытием цирка в Аомори больной умер. Вот и приш ли на представление вдова и мать покойного с его портретом. Они выполнили последнюю волю усопшего.

...Не раз я мечтал побывать в родных местах Огума Чидэо, творчество которого давно изучаю. Если бы не филатовские медведи, быть может, я бы и не попал сюда. Но так или иначе мечты мои осуществились. Фамилия Огума в переводе значит «медвежонок». Выросший здесь, на севере, в этом совсем не угрюмом (в чем я убедился) краю, Маленький Медвежонок, как его звали в детстве сверстники, стал могучим и сильным, и голос его разнесся по всей Японии.

Я стою на берегу живописного озера с изрезанными берегами, перекидными мостиками, храмом на островке, утопающем в зелени, а в центре озера, над гладью воды, в которой плывут облака, набегая на отражения ивовых веток, возвышается медведь — символ севера страны — с поднятой лапой, в которой зажата рыба: из ее пасти бьет фонтан, рассыпаясь брызгами среди снующих вокруг прогулочных лодок. Я



стою перед каменной глыбой — памятником Огума Хидэо, прославившему свой родной город Асахигава. Ее воздвигли близ озера, почти у самой воды — в юности поэт любил кататься здесь на лодке, — а рядом, в нескольких шагах отсюда, в здании городской библиотеки — выставка, посвященная его жизни и творчеству...

С волнением перелистываю книги поэта, пожелтевшие от времени черновики, воспоминания современников, тексты речей на открытии мемориального камня, перебираю рисунки Огума, ноты несен на его стихи... Многие ценные копии передадут мне позже любезные сотрудники библиотеки, а мэр Асахигава подарит книгу об Огума со своим предисловием — книгу, написанную Саго Киити, большим знатоком и почитателем таланта Огума. Но сейчас я рассматриваю дорогие реликвии, беседую с земляками поэта, отвечаю на вопросы невесть откуда появившихся репортеров.

Не каждый, даже широко известный, поэт в этой стране, где издавна высоко чтят поэзию, заслужил право на бессмертно. В префектуре Иватэ я видел гранитный обелиск в честь знаменитого Такубоку, в Хиросиме — в честь ее погибших певцов: Хара Тамики и Тогэ Санкити. А теперь и на Хоккайдо воздвигнут монумент — в честь Огума Хидэо, поэта-трибуна.

«Главное, что пронизывало все его существо, — это любовь к людям, любовь к будущему, — говорится в послесловии к избранным стихам поэта. — Что же касается произведения, созданных Огума за короткую жизнь то кажется, за десять послевоенных лет еще не появлялся человек, который был бы его достойным преемником».

Эти слова были написаны 15 августа 1955 г., ровно через десять лет после того, как Япония заявила о своей безоговорочной капитуляции. Огума не дожил до

того времени, когда вышли из тюрем оставшиеся в живых его товарищи по оружию.

Он прожил всего тридцать девять лет. Родился за шестнадцать лет до Октябрьской революции и умер на кануне Пирл-Харбора, в 1940 г., когда Японская империя с помпой отмечала две тысячи шестьсот лет своего существования.

После войны в Японии началась новая жизнь произведений Огума. Любители его поэзии получили и полное собрание его стихов и избранное. Художественное и политическое значение творчества Огума огромно, а наследие его достаточно обширно. Его мужественная и гордая лира звучит все громче и громче.

Слава приходит к поэтам по-разному: реже — при жизни, чаще — посмертно. Огума мог лишь угадывать будущее признание. Мечтавший в юности написать столько книг, чтобы, сложенные стопкой, они оказались вровень с ним самим, Огума выпустил всего две книжки: «Сборник стихов Огума Хидэо» и «Летающие сани». Третий сборник — «Кочевники» — был издан после смерти поэта.

«Я умираю, так и не увидев солнца», — говорит Хандзо, герой романа писателя-классика Симадзаки Тосона «Перед рассветом» (1935). Эти слова мог повторить и Огума: в его время, казалось, даже солнце в стране было упрятано за решетку. Верно сказано в упомянутом послесловии: «Судьба поэзии Огума и его книг в точности отражает судьбу и страдания, через которые прошел японский народ».

Отец поэта, выходец из крестьян, был бедным портным, и семья еле-еле сводила концы с концами. В четырехлетнем возрасте мальчик лишился матери. «С детства я сам заботился о себе», — писал впоследствии Огума. будущему поэту удалось окончить лишь восемь классов: началась трудовая жизнь. Кем только ни

приходилось работать! И кузнецом, и сторожем, и рыбаком... Он собирал морскую капусту и рубил дрова, подковывал коней и писал очерки для местной газеты. Жизнь была его главным и единственным университетом.

Из родного города Асахигава в 1925 г. Огума приезжает в Токио. Столица встречает его, как злая мачеха — ни пристанища, ни работы. Огума возвращается домой, но не теряет надежды снова оказаться в столице. Второй раз в Токио ему повезло: он устраивается работать в кузницу.

Жизнь идет вперед. Огума-кузнец бьет по наковальне молотом, а Огума-поэт слагает стихи:

Не трепещи от страха, конь,  
И не храпи, мой друг,  
Ведь я кузнец!  
Когда к твоим копытам  
Я прикасаюсь огненным железом,  
Живой дымок струится...  
Да, я жесток,  
Ведь я кузнец!

К концу 20-х годов имя Огума приобретает известность. Он автор многих стихотворений, детских рассказов, очерков, зарисовок, один из создателей литературного журнала «Энто» («Круглая шляпа»). Творчество Огума удивительно многообразно: он пишет сатирические стихи и стихи о любви, выступает за равноправие женщин и призывает к революции...

Кто имел силу пережить, тот должен иметь мужество помнить, — писал Герцен: Огума же не только помнил о прошлом — о горькой жизни в нужде и голоде, он говорил об этом во весь голос. Его поэзия была исполнена пафоса борьбы, его стихи «вносили бодрость

в литературу того времени, в которой начинал ощущаться дух пораженчества».

Об Огума можно сказать словами Китамура Тококу, революционного поэта конца XIX века: «Человек рожден для борьбы, но бороться надо не ради самой борьбы, а потому, что в жизни есть вещи, против которых нужно бороться. Бороться можно мечом, можно и кистью, и тогда кисть не отличается от меча». Сам Огума раскрывает свое жизненное кредо в стихотворении «Действительность канатоходца»:

Умирая, Гоголь просил:  
«Лестницу... лестницу...»  
Мопассан зыдохался!  
«Темно... темно...»  
Байрон кричал:  
«Вперед!., вперед!..»

Те слова  
Уходящих из мира  
Могут выбрать живые.  
О живые, возьмите любое —  
Созвучное вашему сердцу!  
Я  
Выбираю  
Предсмертный клич —  
Зовущее слово  
Байрона!

Огума прекрасно знал жизнь, видел ее исторические закономерности. Верность правде жизни, свежесть, сочность поэтической образности делают его творения прекрасными и неповторимыми. Великое соседствует в стихах Огума с малым, непреходящее с мимолетным. Под куполом неба с мириадами застывших

в нем звезд слышится плач ребенка и шепот матери, бродит смешной чужак, продающий денежный пепел, тоскуют о счастье суеверные проститутки, едет в Маньчжурию — быть может, на смерть! — бывший босяк, которого распирает радость оттого, что одет он в новехонький казенный мундир.

Все это реальные образы реального японского мира. Огума видит жизнь без прикрас, такой, какой была она для миллионов его соотечественников:

Есть еще люди, воюющие с нищетой  
Более страшной, чем настоящая битва...  
Как же могут жить дальше люди  
Среди копоты, пыли, мокрот?  
Слово «любовь» устарело.  
Слово «ненависть» позабыто.  
Забыли все, что живут.  
Забыли, что умереть должны.  
Просто лишь суетятся,  
Лишь тяжело живут  
Под легко плывущими облаками.

Вступление Огума в строй поэтов-борцов совпало с периодом ослабления японского пролетарского движения, однако перо в его руке всегда было разящим мечом. В «Стихах на коне» Огума сравнивает свою жизнь с поединком между полицией и преступником. Поэт с гордостью заявляет, что он — коммунист и не станет трусливо жить на коленях, ибо он в тысячу раз сильнее врагов, у которых против него только одно оружие — репрессии.

«Стихи на коне» — такие пишутся в походе, во время боя, с ними идут в атаку и на штурм — ключ к пониманию мировоззрения Огума. Быть поэтом, в представлении Огума, — значит быть впереди идущих

на штурм. Это — программное стихотворение поэта, свидетельствующее о том, что он сумел сохранить верность революционным убеждениям и в условиях жесточайшего террора наступившей «эпохи полумглы», а затем и «эпохи мрака».

Стихи написаны в 1934 г., когда уже не стало Кобаяси Такидзи, погибшего от пыток в полицейском застенке, когда были арестованы главные руководители созданной, по так и не приступившей к деятельности Японской лиги пролетарской культуры, когда под натиском репрессий «чрезвычайного времени» Союз пролетарских писателей принял решение о самороспуске.

1934 год — это начало периода шатаний и разброда, завершившегося для некоторых прогрессивных писателей (например, Хаяси Фусао) прямой изменой пролетарскому делу, переходом на сторону фашизма. Культивируется так называемая свобода творчества (каждый пишет «что хочет» и «как хочет»), отказ от остроактуальных политических проблем времени.

С горечью за отступников пишет Огума в стихотворении «Политика — моя возлюбленная»:

Все так любили, ласкали политику,  
А сейчас брезгают ею.  
Я не сплю до утра, размышляя об этом.  
И если могу я идти против жизни.  
Хотя бы единственным словом..  
Политика, это твоя заслуга!

Корабль пролетарской литературы Японии получил пробоину и накренился. Писатели-отступники, анархистски настроенная интеллигенция, «авангардисты», себялюбцы и трусы — вся эта накипь схлынула прочь. Тем ясней и отчетливей увидели люди

подлинных рыцарей революции — пусть немногих, но несломленных, непокоренных. Среди них был и Огума. В этот период творчество его переживает расцвет. «Я — придворный поэт революции!» — с гордым достоинством заявляет Огума.

Во многих стихах поэта воспевается Россия, родина социализма, родина Ленина. Еще в юности Огума был покорен волшебными строками Пушкина. «Я слышал, — вспоминает писатель Ои Хироскэ, — что Юаса Ёсико (известная переводчица, побывавшая в СССР, встречавшаяся с Горьким. — А. М.) устно переводила стихи Пушкина, а Огума тут же очень хорошо перелагал их на японский лад и очень гордился тем, что имел самодельный томик своих переводов стихов русского поэта. Но после смерти Огума я так и не смог узнать, где находятся эти драгоценные переводы из Пушкина».

Поэзия Огума Хидэо испытала благотворное влияние Маяковского. Огума горячо любил Маяковского, считал себя его последователем и учеником. Его памяти он посвятил взволнованное стихотворение «Языком Маяковского».

...Огума Хидэо из тех поэтов, к которым признание приходит не сразу. Я брожу по зеленой траве, окружающей камень-памятник. Издалека доносится отчаянный стрекот цикад: как будто трепещут на ветру сотни флагов. У памятника безлюдно. Он чуть в стороне от оживленной дороги, огибающей озеро. Но ведь и у памятника Пушкину на Пушкинской площади в Москве не каждый день останавливаются москвичи — больше приезжие, туристы. Любовь к поэту — в сердцах соотечественников, в сердцах благодарных потомков.

В парке на противоположном берегу озера раскинулся обширный спортгородок. Я спрашиваю у мальчика лет десяти-двенадцати, самозабвенно бросающего другу бейсбольный мяч, кто такой Огума Хидэо. Он смотрит на меня с удивлением и говорит:

«Это наш поэт. В прошлом году ему поставили памятник. Народу было видимо-невидимо».



## Японский Есенин

*Есть особые мгновения, они не повторяются в жизни. Я с любовью вспоминаю эти мгновения. Мне не хочется, чтобы они прошли бесследно. Чтобы запечатлеть их, нужны короткие песни, которые можно создавать быстро... Я пишу такие песни, потому что я люблю жизнь.*

*Исикава Такубоку*

Издалека мне показалось, что эго — изваяние с острова Пасхи: в вечерней мгле одиноко глядела в небо таинственная каменная глыба. Она находится в префектуре Иватэ, на берегу реки, в часе езды от города Мориока. Гранитная глыба воздвигнута в честь любимейшего из поэтов японского народа Исикава Такубоку. Здесь, на земле, где родился, рос и любовался вот этим багровым закатом поэт, я вспомнил еще одну встречу, вернее, памятный вечер в Москве в Доме дружбы с народами зарубежных стран.

То был необычный вечер. Москвичи — молодежь и всемирно известные японоведы — собрались почтить память поэта. по случаю пятидесятилетия со дня его кончины. Были здесь и переводчицы стихов Исикава — Анна Евгеньевна Глускина и Вера Николаевна Маркова. Председательствовал академик Николай Иосифович Конрад. Задушевно и торжественно звучала речь академика. Но не это взволновало меня, и даже не его ораторское искусство, отмеченное строгостью мысли и отточенностью формулировок. Меня поразила тогда

надолго оставшаяся в памяти необычная, но удивительно точная аналогия: Такубоку — Есенин! Оба — любимейшие певцы своего народа, выразители сокровенных глубин народной души. Оба воспели родные края. Оба ушли из жизни молодыми, оставшись навечно в благодарных сердцах своего народа.

...Существует старинный японский обычай: когда расцветают деревья, на особенно красивые ветки вишни или сливы подвешивают колокольчики, звенящие от малейшего дуновения ветра. К язычкам колокольчиков прикрепляются полоски бумаги, так называемые тандзаку, на которых начертаны тушью стихи любимых поэтов. И когда с белоснежных ветвей доносится мелодичный перезвон, кто бы ни шел, невольно замедлит шаги, чтобы прочесть стихотворение, а заодно и полюбоваться благоухающей ветвью.

Каждый апрель на зеленеющей ветке ивы можно увидеть «тандзаку» с очень известным стихотворением:

Вы перед глазами у меня,  
Берега далекой Китаками,  
Где так мягко ивы зеленеют,  
Словно говорят мне:  
«Плачь!» [\[8\]](#)

Эти строки принадлежат Такубоку. Он умер в апреле, тринадцатого числа, и ежегодно вся Япония отмечает день памяти поэта. Подобно Пушкину, Роберту Бернсу и другим великим поэтам, он удостоился всеобщей любви.

Исикава Такубоку — народный поэт в подлинном смысле слова. Он вышел из народа и оставался с ним, живя его жизнью, служа его интересам.

Такубоку родился в 1885 г. в бедной крестьянской семье, с детства познал нужду, которая не покинула его, как и великого шотландского барда, даже в зените славы. Рассказывают, что нередко Такубоку приходилось добираться до дому пешком — не на что было купить трамвайный билет.

Друзья!  
Не брезгуйте так жалким видом нищих!  
Ведь я в дни голода такой же, как они! —

писал поэт.

В поисках лучшей жизни, в поисках смысла самого существования поэт переезжал с места на место — устремлялся то на юг, то на север.

В своей критической статье «Стихи, которые можно есть» Такубоку писал: «Когда мне исполнилось двадцать лет, в жизни моей произошли большие перемены... Следовало бы всем мечтателям — этим жалким трусам, которые боятся действительности, — хоть частично испытать на самих себе пережитое мною с тех пор...»

В надежде на заработок он едет в Токио — напрасно... Вторая поездка — и вновь неудача... С женитьбой нужда становится еще нестерпимее. Как прокормить пять человек на жалованье помощника школьного учителя? Но и этих мизерных денег Такубоку лишился за организацию в школе забастовки протеста. Его уволили.

И все же, несмотря на тысячи бед и невзгод, несмотря на царившую в обществе гнетущую атмосферу тирании и деспотизма, в которой гибли лучшие люди, поэт не сдавался. Он писал и боролся, любил и страдал, жаждал свободы и воспевал ее грядущий приход... Недаром в одном из своих

стихотворений он назвал себя «сгустком мятежного духа», недаром во многих стихах он говорит о своей любви к алому цветку как символу мятежной борьбы:

О алый, алый цвет!  
Как радостен наш мир,  
Когда горит в нем алый цвет!

Враг неподвижности и застоя, Такубоку едко высмеивал тех, кто стремился, как премудрый пескарь, остаться в стороне от событий века, уйти на дно обывательщины, погрязнуть в сугубо личных переживаниях:

«Как мне бездействие противно  
Застывшего в своих порядках мира!» —  
Так я сказал,  
И с этих пор  
Живет в душе мятежная тоска.

Вот почему спокойное, безветренное море ассоциируется в сознании поэта с застоем:

О, как томит меня  
Это спокойное море!  
Я отвернулся прочь, —  
И опалил мой взор  
Пламенем алый пояс.

Весь — порыв, весь — устремленность вдаль, вперед, к светлому завтра... Таким был Такубоку.

Любовь к России окрашивает многие произведения Такубоку.

Имя русское  
Бородин,  
Не знаю сам почему,  
Целый день  
Я твержу безотчетно...

А вот другое стихотворение:

Русское имя  
Соня  
Я дал дочурке своей,  
И радостно мне бывает  
Порой окликнуть ее.

В одну из своих поездок, на пути к городу Кусиро, что на Хоккайдо, Такубоку увидел равнину Исикари, и в его воображении возник русский пейзаж. Она напомнила ему повести Тургенева, которыми он зачитывался, его настольную книгу — «Накануне» и любимого героя — революционера Инсарова:

Летел навстречу мокрый снег,  
И по равнине Исикари  
Наш поезд мчался сквозь метель.  
Я в этом северном просторе  
Роман Тургенева читал.

Во время русско-японской войны поэт бросает резкий вызов силам милитаризма и расовым предрассудкам, воспекает врага — неслыханная в Японии дерзость! — «русского героя» в произведении «Памяти адмирала Макарова»:

Утихни, ураган! Прибой, не грохочи,  
Кидаясь в бешенстве на берег дикий!  
Вы, демоны, ревущие в ночи,  
Хотя на миг прервите ваши крики!  
Друзья и недруги, отбросьте прочь мечи,  
Не наносите яростных ударов,  
Замрите со склоненной головой  
При звуках имени его: Макаров!

*(Перевод В. Н. Марковой)*

Смело приветствует Такубоку и первую русскую революцию:

Кто посмеет меня упрекнуть,  
Если я поеду в Россию,  
Чтобы вместе с восставшими биться  
И умереть,  
Сражаясь?

Поэтический сборник Такубоку «Горсть песка», созданный в 1910 г., — своеобразная исповедь поэта, собравшего в одной книжке лирические записи разных лет. Когда читаешь «Горсть песка», сердце переполняется тоской, безотчетной и долго не проходящей, — настолько печален и беспросветен внутренний мир поэта:

Какая грусть в безжизненном песке!  
Шуршит, шуршит  
И все течет сквозь пальцы, когда сожмешь в  
руке...

С волнением я читал эти строки, высеченные на камне — еще одном памятнике поэту — перед старинной гостиницей (в которой он жил когда-то) на одной из улочек столицы неподалеку от Токийского университета. Прежнее здание сгорело, а новое бережно хранит память о великом скитальце. И вспомнились мне тогда же еще одни строки поэта:

Вдруг незаметно для меня  
С крупинками песка слеза смешалась...  
Какой тяжелой сделалась слеза!

Жизнь уходила... Но когда же придет долгожданное освобождение? Да и придет ли оно?..

От сердца своего  
Сегодня я бежал,  
Как зверь больной,  
Куда глаза глядят...  
От недовольства жизнью я бежал.

И все же, читая и перечитывая «Горсть песка» (равно как и другую книгу Такубоку — «Грустная игрушка»), замечаешь, что пессимистический настрой стихов не всеобъемлющ. Убеждаешься, что «Горсть песка» проникнута и оптимизмом, искренней симпатией к людям. Да и могло ли быть иначе, если поэзия Такубоку отображала реальность во всем богатстве красок и оттенков? «Надо писать стихи, крепко стоя обеими ногами на земле, — говорил Такубоку. — Надо писать о чувствах, тесно связанных с реальной жизнью. Надо писать стихи, необходимые для нас, от которых исходил бы запах нашей повседневной еды, а не редких изысканных блюд».

В поэзии Такубоку древнее пятистишие — танка, этот традиционный малый поэтический жанр, избавилось от условностей, наложенных предыдущими веками, наполнилось соками полнокровной жизни. Поэт вдохнул новое содержание в форму тысячелетней давности. Он поднял новую тему — воспел любовь к своей родине, к своему народу:

Сегодня снова боль в груди моей.  
И думаю: «Уж если умирать,  
Уеду и умру в родном селе! [\[9\]](#)

Последний сборник Такубоку, «Свист и свисток», создавался в период увлечения поэта социалистическими идеями. Он посещал кружки, где революционно настроенные интеллигенты вели жаркие политические споры. Но, к сожалению, только споры. Об этом с горечью говорит Такубоку в стихотворении «После бесконечных споров». Пылкие сердца, горячие головы! Но никто из споривших не предлагал, подобно русским единомышленникам, идти «в народ». И когда поэт встретил среди них не случайного попутчика революции, а настоящего борца, он проникся к нему огромным уважением. Встречу сохранило потомкам стихотворение «Надгробная надпись».

Свою недолгую и печальную жизнь Исикава Такубоку посвятил народу. Мечта о новом завтрашнем дне, о революции не покидала поэта до последнего вздоха:

Верно, думают с грустью об этом жена и друзья, —  
Ведь смертельно я болен, и все же  
Говорю беспрестанно о революции вновь!



Но Такубоку не только демократический поэт, глашатай социальной бури. Такубоку — тончайший лирик, воспевший любовь, душевную человеческую привязанность:

Как в груди мягкую скопившегося снега  
Пылающие щеки погрузить —  
Вот так бы полюбить!

А как трогательно пишет поэт о матери, раньше времени состарившейся от нужды и горя:

Я в шутку  
Мать на спину посадил,  
Но так была она легка,  
Что я не мог без слез  
И трех шагов пройти!

Эти строки невольно воскрешают в памяти другие, написанные в другой стране:

Ты жива еще, моя старушка?  
Жив и я. Привет тебе, привет!  
Пусть струится над твоей избушкой  
Тот вечерний несказанный свет.

Много общего у двух этих разных поэтов — Есенина и Такубоку. И свежесть чувств, и нежность души, и грусть, и молодость, и надежды... О родственности их поэзии когда-то говорил академик Н. И. Конрад. Об этом пишет и современная японская критика. Но более всего это подчеркивают стихи. Можно немало привести примеров. Но мне хотелось бы обойтись еще одним. Вспомним, с какой теплотой писал Есенин о животных, о

«зверье», которое, «как братьев своих меньших, никогда не бил по голове». Вспомним «Собаке Качалова»:

Пожалуйста, голубчик, не ложись.  
Пойми со мной хоть самое простое.  
Ведь ты не знаешь, что такое жизнь.  
Не знаешь ты, что жить на свете стоит...

А вот трехстишие Такубоку:

[illegible]

...На берегу реки Китаками, где протекало детство поэта, на фоне белоснежной горы Иватэ высится огромная глыба камня, воздвигнутая в честь Такубоку. На полированной поверхности памятника высечены строки поэта, посвященные родной реке и плакучей иве. Те же строки, к которым каждой весной с ветвей цветущих деревьев взывает звон колокольчика:

Вы перед глазами у меня,  
Берега далекой Китаками,  
Где так мягко ивы зеленеют,  
Словно говорят мне:  
«Плачь!»»

## «Русское поле...»

Роберт Бернс был крестьянином, Лермонтов — военным... Есть поэты — врачи, сталевары, архитекторы... Сколько поэтов — столько профессий. А может ли стать поэтом работник торговой фирмы? Вещественное доказательство у меня в руках: сборник, отпечатанный на гектографе в количестве трехсот экземпляров самим автором, тогда еще работником фирмы «Токо Буссан».

«Туманом не будешь сыт», — говорят в Японии. У Усами Наоки — семья, и поэтому приходится совмещать литературный труд со службой.

Вспоминается моя первая встреча с Усами... В ослепительном блеске юпитеров замерли ожидающие взлета стальные птицы. Нескончаем поток провожающих. В тот далекий осенний вечер шестьдесят второго года я провожал в Японию моего друга — переводчика и литературоведа Накамото Нобуюки, стажировавшегося на курсах русского языка при МГУ. Самолет уже взмыл в воздух, когда я увидел рядом с собой молодого японца в сером плаще. Он что-то спросил по-русски с сильным акцентом. Кажется, как пройти к стоянке такси. Разговорились.

— Усами Наоки, — представился незнакомец.

Я вздрогнул. Однофамилец? А если действительно... И, сдерживая волнение, твердо сказал:

— Я знаю, вы поэт.

Мой собеседник изумленно уставился на меня. Молчание затягивалось. Наконец он нарушил паузу, медленно и не очень уверенно произнес:

— Да, я пишу стихи...

— Ну как же, как же, — подхватил я, — например, стихотворение «Посвящается полицейской дубинке», вы

написали его в 1952 году...

Узенькие глаза японца расширились до предела.  
Мне пришлось раскрыть свои карты:

— Я журналист и переводчик японской поэзии.

И, к великому удовольствию поэта, все еще не  
верившего своим ушам, я прочитал его стихотворение,  
которое в переводе В. Н. Марковой включено в книгу]  
«Японская поэзия» (1954):

Браво, умнее нельзя решить,  
Такого еще не видано сроду!  
Полицейской дубинкой  
                                вы сокрушить  
Хотите борьбу за мир и свободу!  
В глупой злобе  
                                нечего паяться!  
Нас не разбить  
                                и железною палицей!  
Но разве мы из стекла?  
                                Едва ль!  
Мы — живая сталь!  
Мы — живая сталь!  
Сойдитесь,  
                                сколько вас про запас,  
Ударьте,  
                                и разнесется звон!  
Ударьте  
                                по одному из нас,  
И превратится в сталь  
                                миллион.  
Это — мы,  
                                это наш союз-богатырь,  
Союз борьбы  
                                за свободу  
  и мир!

Разумеется, я не помнил наизусть строк авторского предисловия, но сам автор, стоявший рядом со мной на дорожке аэродрома, не мог не помнить их: «2 февраля 1952 года был незаконно арестован и зверски избит полицейскими и шпиками один из студентов Токийского университета. Меня тоже избили дубинками за то, что я вступился за него.

Одновременно полиция избила кулаками и прикладами восьмерых студентов в городе Нагоя, протестовавших против ареста одного из своих товарищей. Вся вина его заключалась в том, что он расклеил листовки с призывами бороться против повышения платы за учение».

Расстались мы далеко за полночь и с той поры встречались каждый раз, когда Усами приезжал в Москву или мне доводилось бывать в Японии.

В один из приездов Усами привез мне свои новые стихи и очень просил перевести их как можно скорее: его пригласили выступить по московскому радио.

Осенью 1966 года я поехал в Японию. Самолет в то время летал до Хабаровска, через несколько часов шел поезд до Находки — и почти сразу посадка на теплоход, отходящий в порт Иокогама.

Коротая время в Хабаровске в ожидании поезда, я зашел в редакцию «Тихоокеанской звезды» и неожиданно для себя узнал, что на страницах газеты месяца два назад опубликован мой перевод из Усами. В редакции любезно разыскали экземпляр газеты.

«Когда спрашивают, какая у меня профессия, я не говорю: журналист я или переводчик, учитель, поэт или работник торговой фирмы. Я отвечаю: я — рабочий, ибо капиталисты эксплуатируют меня, раз я живу в их обществе». Эти слова Усами припомнились мне, когда я перечитывал его сборник «Ундо», выпущенный токийским издательством «Акасиа».

Название сборника — «Ундо» («Движение») — символично: по мнению автора, это — движение вперед, к будущему. Но куда, к какому будущему движется мир? Всем своим творчеством поэт Усами категорически утверждает: навстречу коммунизму.

В сборник включены стихи разных лет — от юношеских строк о студенческой демонстрации («В снегу цветы распустились») до четверостиший-раздумий о событиях во Вьетнаме. Со страниц книги встает герой современной Японии — обуреваемый жаждой познания и борьбы юноша, который должен «штудировать древний роман» и «прочитывать кипы газет», «рисовать для души этюды и натюрморты», «на митинг мира поспеть» и «заработать на жизнь»... (стихотворение «Сутки»).

Синонимом мира, правды, чистоты стал для поэта Усами коммунизм:

Коммунизм воспеваю, коммунизм, —  
Потому что ребенка  
Мне подарит жена,  
И чтоб в тюрьмах за правду  
Не страдал он потом,  
Коммунизм воспеваю, коммунизм!

Позже я видел его ребенка — мальчика по имени Сусуму. Видел в Москве, куда он приезжал погостить к отцу, и в Японии, в Иокогама, — я приезжал к ним в гости на электричке из Токио. Застенчивый, худенький мальчуган был рад Москве и особенно ее здоровому умеренному климату — от мучившей его астмы почти не осталось и следа. Это ему, только что родившемуся, отец посвятил когда-то стихотворение «Одновременно», полное щемящей боли и опасений за его судьбу в тревожном мире:

Первенец мой —  
Беззаботно смеется Сусуму,  
Цунэко, счастливая,  
Строит рожки.  
    «Расширение военно-воздушной  
    базы Татикава...»  
Беззаботно смеется Сусуму.  
    «...Необходимо и для японской  
    армии...»  
Беззаботно смеется Сусуму.  
    «Аэродромы и управляемые  
    ракеты „Онест Джон...“»  
Беззаботно смеется Сусуму.  
Жестокое радио!  
    «...На основе  
    японо-американского соглашения...»  
Беззаботно смеется Сусуму.  
Цунэко что-то воркует радостно  
Несмысленно....

...Отгремели залпы орудий, смолкли винтовки, кончилась мировая война. Но долго еще чадили развалины Хиросимы и Нагасаки. В 1951 г. Япония стала формально независимым государством. Был заключен сепаратный японо-американский мирный договор. Но не случайно поэт не видит во взгляде родины радости. Он не видит ни «благоденствия», ни «свободы», якобы наступивших после подписания договора. Сотни военных баз чужеземцев, подобно язвам, покрывают тело страны! Тогда-то и появилось проникнутое безысходной тоской стихотворение «Грустные глаза».

У поэта, живущего жизнью народа, нет более высокой цели, чем труд на благо народа, чем борьба за его интересы. А для народа главное — мирная жизнь.

Этими мыслями проникнуто творчество Усами того периода.

В префектуре Гумма есть гора под названием Мёги. Когда американцы попытались использовать склон Мёги для маневров, местные жители дружно воспротивились этому. Они одержали победу, и Усами создает патриотическое стихотворение, которому предпослан эпиграф из знаменитой антологии древней японской поэзии «Манъёсю»:

Лишь выйду я из бухты Таго —  
И слова молвить не смогу...  
О, как прекрасен  
В небе синем  
Лик Фудзи в солнечном снегу!

Поэт как бы принимает эстафету мира, передаваемую из поколения в поколение простыми людьми Японии. Для них гора Фудзи всегда была олицетворением мира и независимости их родины...

Неподалеку от деревушки Сомагахара, что в префектуре Гумма, находится американский военный полигон. Не на пустыре, нет. Огромная площадь его принадлежала крестьянам. Теперь же местным жителям разрешено находиться на территории запретной зоны только по воскресеньям. Женщины собирают здесь траву для корма скоту, а дети — стреляные гильзы...

Горечью и сочувствием соотечественникам, у которых отняли землю, нежной любовью к детям, лишенным детства, окрашено стихотворение Усами «Дети, трава, цветы и упряжка».

Усами ненавидит войну, но пишет о ней, ибо нельзя молчать, когда бомбы падают на землю Вьетнама:



Хочу ли всю жизнь я писать о войне?  
О нет!  
И во сне воспевал бы я милую,  
Если бы пушки исчезли с планеты...

Усами любит свою страну, свой народ, он реалист, гражданин, современник своей эпохи. Поэзия его питается соками жизни. Боевая, кипучая, бьющая через край жизнь — неиссякаемый источник вдохновения Усами. «Осенняя песня» — творческое кредо поэта. Поэт клеймит своих противников в искусстве, утверждая нерасторжимость «эстетики» и «политики», этих двух «кровных сестер». Усами не только воспевает лучшую жизнь, но и борется за нее.

Еще будучи студентом, Усами Наоки записал в своем дневнике: «Двадцать первого февраля я видел кровь на лице товарища, кровь от удара дубинкой». Впоследствии эти слова стали эпиграфом к стихотворению «Зимой распустились цветы». Стихотворение гневно осуждает насилие, дышит верой в приход весны и свободы. Написано оно в 1952 г. В тот год особенно обострилась классовая борьба в Японии. В Корее продолжалась американская интервенция. Дымились трубы японских заводов, «делавших» дивиденды на спецзаказах, когда патриоты Японии, движимые чувством протеста, вышли на первомайскую демонстрацию. Бескрайнее людское море бушевало на Народной площади перед императорским дворцом — полмиллиона трудящихся! Развевались на ветру алые полотнища. Люди требовали прекращения американской интервенции в Корее, улучшения условий жизни, демократических свобод. Требовали, чтобы здесь, на бывшей Императорской площади, разрешены были манифестации и собрания.

Коммунистическая партия Японии находилась в подполье. Ее руководители скрывались от полицейских ищеек. Но идеалы ее вдохновляли демонстрантов в тот героический и роковой, залитый солнцем и кровью Первомай. «Мы стояли друг против друга, — вспоминает участник и очевидец событий Усами Наоки, — они и мы... Их было меньше... Но когда они ринулись на нас, стреляя в упор, показалось, что их несметные полчища... Весь день потом на станциях метро, на вокзалах, на улицах ловили людей с окровавленными бинтами. Раненых отправляли в тюрьмы».

В те дни поэт написал много стихов. Одно из них посвящено девушке, пришедшей на свидание к другу...

Девушка парня ждала  
под деревом гингко.  
Девушка не знала,  
что ее друг арестован.

Студенты — братья рабочих.  
Первое Мая — наш праздник.  
Так думали мы.  
«Народная площадь» — площадь народа,  
они не посмеют ее отпять.

Так думали мы.  
Под звуки песен, рука в руке,  
со знаменем шли вперед —  
ради рабочих, ради мира.  
Помню  
отчетливо, ясно...  
Вдруг —  
слезоточивых гранат  
град,  
касок сверканье,  
блеск пистолетных дул...

Говорят, что товарищ  
кричал полицейским:  
— Не стреляйте в народ!  
— Не стреляйте в народ!  
Девушка парня ждала.  
Девушка ничего не знала.  
Я хотел ей сказать.  
Я к ней подошел,  
но стоял —  
с низко опущенной головой,  
словно яркая зелень гингко  
слепила меня...

Поэт верит в конечное торжество коммунистических идеалов. Верит в приход весны, неизбежной, долгожданной, солнечной, и веру его разделяют многие, очень многие юноши и девушки Японии. Свидетельство тому — строки современника и ровесника Усами поэта Имамуре:

Скоро весна наступит,  
И рухнут оковы мрака.  
Ведь будущее планеты —  
Мы, молодежь, мы!

И в дождь, и в метель, под градом ударов полицейских дубинок, сквозь тюрьмы и смерть шагает к цели юность Японии. Ничто не в силах остановить ее, поколебать ее единство...

Усами — прогрессивный поэт. Ему сродни революционность Маяковского.

Мои строки стремятся к цели,  
Словно пули красноармейцев! —

говорит о себе Усами Наоки.

Влияние творчества Маяковского и некоторых других советских поэтов прослеживается во многих его стихах.

Как же оценивает поэт Усами поэта Маяковского? «Если „Илиада“ — конец героической эпохи Греции, то „Ленин“ (поэма „Владимир Ильич Ленин“ — А. М.) — начало эпохи мировых Советов», — написал он на преподнесенном мне экземпляре книги.

...Много профессий переменял за свою жизнь Усами Наоки, которому уже за сорок. Сейчас Усами — сотрудник музыкальной фирмы «Нихон Бикута», выпускающей грампластинки. Работы не убавилось. Пожалуй, наоборот. Когда мы встретились на ЭКСПО-70, поэт был весь во власти новых забот: он работал над переводом советских песен. «Творчество лишает меня личной жизни», — отшучивался Усами, который большую часть своего короткого пребывания в Осака потратил на консультации у знатоков песни — советских музыкантов.

Весной 1971 г. фирма «Нихон Бикута» распространила проспект, рекламирующий первую публикацию в Японии послевоенных советских песен, а вскоре на прилавках магазинов появился красочный альбом со стереозаписями — своеобразная антология советской песни за последние четверть века. Стихи С. Есенина, И. Сельвинского, М. Матусовского, Е. Евтушенко, Р. Рождественского, Л. Ошанина, К. Ваншенкина нашли дорогу к сердцам японских любителей песни, и немалая заслуга в том Усами Наоки, выполнившего переводы текстов. Он глубоко прочувствовал проникновенное русское поэтическое

слово и сумел передать своим соотечественникам его задушевность.

Некогда переводчик первой послевоенной антологии советской поэзии, Усами Наоки стал отныне и переводчиком первой антологии послевоенной советской песни. Читая его обстоятельные комментарии к каждой песне, невольно проникаешься чувством признательности к большому другу и пропагандисту советской поэзии.

Как поразительно точно выбрал поэт из множества переведенных им песен цитату, открывающую его исследование, предшествующее переводам!

«Русское поле...  
Ты моя юность,  
Ты моя воля, —  
То, что сбылось, то, что в жизни сбылось, —

поется в песне, помещенной в этом альбоме. Когда я слушаю популярные послевоенные советские песни, которые целый год собирал, отбирал и переводил, — пишет Усами, — Советский Союз в моем представлении, его стихи, песни как бы сливаются воедино; единую цепь образуют и разрозненные события моей послевоенной жизни... Студенческие выступления, профсоюзная борьба, несколько сборников стихов и переводов из советской поэзии, десять лет, проведенные мною в Японии и в Советском Союзе. Люди, с которыми я встречался на бескрайних просторах от Дальнего Востока до берегов Балтийского моря, раздумья об идеалах и действительности социализма... Я слушаю эти песни, и душа моя утрачивает покой, и слово „разлука“ наполняется физически ощутимым смыслом...» Этими словами Усами Наоки хочется закончить очерк о нем.

## «Брат мой Назым!..»

*Голос Хикмета, западающий в душу каждого человека, взывающий нежно и ласково ради маленькой мертвой девочки из Хиросимы поставить подпись за мир, уже давно стал голосом миллионов, жаждущих мира. Стал гимном японского движения в защиту мира.*

*Накамото Нобуюки*

Еще со студенческих лет я зачитывался Назымом Хикметом. Правда, слово «зачитывался» не совсем точно передает тогдашнее мое отношение к поэзии великого турецкого поэта. В 50-е годы, когда накал борьбы за мир достиг апогея, Назым Хикмет, лауреат Международной премии мира, был одним из тех, кто шел во главе этого движения современности. И к тому же писал стихи. И какие стихи! Они казались мне эталоном революционного романтизма, в них ощущалась железная поступь века и билось сердце бесконечно любимой...

Странная вещь, в те годы я не мог приступить к очередному своему переводу, не «насытившись» перед работой чтением томика избранных произведений поэта. И каждый раз, когда я прочитывал строки «Плакучей ивы» — этой баллады о красном коннике, смертельно раненном на скаку, я брал перо. А перед мысленным взором витали образы, навеянные стихотворением:

Он не вскрикнул,  
К себе не позвал уходящих друзей.  
Только сердце сдавила печаль,  
Только грустно взглянул  
на копыта коней,  
уносящихся вдаль.

.....  
Конники, конники, красные конники,  
Ветрокрылые красные конники,  
Ветрокрылые конники...  
Конники...  
Конь...  
(Перевод В. Журавлева)

...Многое из того, что перевел я, вошло в сборник «Песни Хиросимы». Тогда я не был знаком с Назымом Хикметом и не предполагал, что мне доведется разговаривать с любимым поэтом. Случилось это, к сожалению, слишком поздно — в последний год его жизни. И встрече с ним я обязан моему другу из Японии Нобу — литератору Накамото Нобуюки. Нобу изучил русский язык, год совершенствовался на спецкурсах при МГУ. Его рассказам о поэзии не было конца.

Мой друг — не только автор литературных заметок и стихов. Профессор Накамото преподает русский язык в школе при обществе «Япония — СССР». Как-то он привел меня в эту школу, которая напоминала больше контору скромной, близкой к разорению фирмы. Но какие энтузиасты работают там и учатся! Как жадно ловили они каждое русское слово, когда по просьбе профессора я выступил специально для записи на магнитофон с рассказом об изучении японской литературы в СССР. Сотни и тысячи людей прошли через стены этой школы, пополнили свои знания о

нашей стране, ее культуре и науке, стали искренними друзьями советского народа.

Нобу — прекрасный чтец-декламатор. Пожалуй, никто с таким мастерством, как он, не мог прочитать знаменитое стихотворение Такамура Котаро «Наивный лепет». Нежность и лиризм, которые вдохнул поэт в строки, обращенные к его жене Тиэко, удваивались, учетверялись благодаря задушевному интонациям, искренности и драматизму исполнения.

С Нобу связаны и мои первые совместные с ним выступления о творчестве Огума Хидэо — в Библиотеке иностранной литературы, на радио — и встречи с Андреем Вознесенским, о котором он с другом-оператором готовил фильм для Японии... Но, пожалуй, самым впечатляющим из того, что принесла мне дружба с этим человеком, была встреча с «великим национальным поэтом Японии», как категорически утверждал Нобу, да и не он один, — встреча с Назымом Хикметом.

Для Накамото это была вторая встреча с Назымом. В воспоминаниях о поэте, опубликованных в газете «Акахата», Накамото писал, что мечтал увидеть поэта еще весной 1961 г., на чрезвычайной сессии афро-азиатских писателей, но, к сожалению, болезнь помешала его приезду.

Переводчик поэзии Назыма Хикмета, Накамото не уставал поражаться его неизбывной энергии, его неутомимому служению людям. Еще задолго до того, как появились первые переводы стихов Назыма на японский, в Японию пришла слава о нем — убежденном, непоколебимом борце за мир. И этим он сразу стал близок многим японцам. Они видели в нем защитника и выразителя своих национальных и общечеловеческих интересов. Слова Алексея Суркова, сказанные в юбилей Назыма Хикмета, отражают, мне кажется, как раз те черты поэта, которые еще до прихода его поэзии в



Японию породили к нему чувства глубокого уважения и признательности: «Я еще его знаю как человека, для которого жизнь человечества, болезни и опасения человечества всегда были наравне с его лирическими волнениями... Он всегда прям, искренен перед лицом людей, во имя которых он жжет свое сердце».

С той поры, когда в 1955 г. с трибуны Всемирного конгресса мира в Хельсинки прозвучали стихи Назыма Хикмета о девочке, погибшей в Хиросиме, о японских рыбаках, пострадавших от испытаний водородной бомбы у атолла Бикини, имя поэта приобрело ту особую популярность, граничащую с поклонением, равной которой трудно найти в современном мире поэзии.

В год шестидесятилетия поэта на острове Кюсю состоялась необычная демонстрация. Ее устроили школьники старших классов. Вместо учебной экскурсии, положенной во время каникул, они организовали марш мира. К прохожим были обращены строки Назыма Хикмета — в руках школьников пестрели урны, оклеенные текстом «Маленькой мертвой девочки»:

Откройте, это я стучу,  
стучу у каждого крыльца,  
невидима для ваших глаз —  
нельзя увидеть мертвеца.

Я в Хиросиме умерла,  
года прошли, года пройдут,  
мне было семь и нынче семь,  
ведь дети мертвые не растут.

Огонь мне волосы спалил,  
потом глаза заволокло,  
и горстью пепла стала я,  
и пепел ветром унесло.

Прошу вас, но не для себя,  
не нужен мне ни хлеб, ни рис,  
не может даже сахар есть  
ребенок, что сгорел, как лист.

Поставьте подпись, я прошу,  
прошу вас, люди всей земли,  
чтоб не сжигал огонь детей,  
чтоб сахар есть они могли.  
(Перевод М. Павловой)

Эти строки стали известны во всем мире. Во Франции еще Жерар Филип читал их на грандиозном митинге демократических сил, протестовавших против испытаний атомной бомбы. Куда бы ни приезжал Назым Хикмет, всюду читали эти стихи, особенно дети, пионеры, школьники. Строки эти вошли в сотни книг на разных языках. Пожалуй, нет страны, где бы их не знали.

Как-то по просьбе журнала «Советская женщина» Назым Хикмет написал небольшую заметку для японских читателей. Она называлась «От всей души благодарю японских сестер». Поэт был благодарен за добрые слова в его адрес, за любовь к нему и за любовь к его «маленькой девочке», погибшей от атомной бомбы. Он говорил, что японская девочка умерла, но потом восстала из пепла и зашагала по всему свету. Она появлялась в вагонах поездов, летящих по Шотландии, смотрела с плакатов на стенах парижских кварталов, и по ночам, прячась от полицейских глаз, стучалась в двери на его родине, в Турции. Поэт встречался с нею и в болгарской деревне, и на сцене театра в Москве, и в Вене, и в городах Индии. О ней пел Поль Робсон. О ней говорило токийское радио.

«В день памяти жертв атомной бомбы, — писала поэту читательница из Японии Кавакита Вака, — мои товарищи и я вместе с вашей „маленькой девочкой“ ходили по улицам, стучали в любую запертую дверь. Мы обращались с призывом то к прохожим, обливавшимся потом от страшной жары, то к людям, проводящим время после ужина в семейном кругу. И мы верим, что все они прониклись еще большим отвращением к войне...»

...Накамото, переводчик «Маленькой мертвой девочки», не встречал Назыма Хикмета в Токио. Он встретил его в Москве, в музее Маяковского. Это случилось зимой 1962 г., когда Нобу стажировался на курсах при МГУ.

— Обязательно приходи ко мне в гости. Обязательно, брат мой, приехавший из Японии! — сказал ему Назым Хикмет.

И Нобу, с трудом сдерживая волнение, ответил в тон ему:

— Обязательно приду, мой Назым!

Обещание свое Нобу выполнил лишь через полгода — все не решался по разным причинам беспокоить известного поэта, чьи стихи он по-прежнему читал в советских газетах.

И вот наконец в телефонной трубке раздался глухой гортанный голос:

— А-а, брат мой! Почему ты не появляешься у меня в доме? Сказал, что скоро придешь. Я жду тебя!

Нобу тут же позвонил мне и попросил поехать к Назыму Хикмету вместе с ним.

Дверь нам открыл молодой человек. Из глубины квартиры донесся знакомый голос:

— Добро пожаловать, брат! Заждался!

Хозяин дома, в джинсах и легкой летней рубашке, радостно обнял своего «японского брата». И поцеловал

его в щеку. Ошеломленный встречей, Нобу с трудом дотянулся до щеки Назыма.

Нобу представил меня Назыму Хикмету как переводчика «поэзии Хиросимы» и знатока творчества Огума Хидэо. В рукопожатии Назыма ощущалась сила, и я невольно забыл, что передо мной автор «Разговора с Лидией Ивановой», человек, не так давно перенесший инфаркт, пролежавший четыре месяца на спине. Бодрость, жизнерадостность Назыма Хикмета, его простота в обращении заставили нас забыть о несоответствии нашего с ним возраста и положения. Незаметно пришла раскованность.

— Да ты не стесняйся, не стесняйся, — с дружеской фамильярностью подбадривал радушный хозяин младшего «японского брата».

— Ведь и я азиат. В этом есть свои плюсы и минусы... Наша восточная стеснительность часто мешает нам жить.

Он обнял Нобу за плечо, и мы направились в дальнюю комнату.

— И в моей Турции, и в твоей Японии — одно и то же, — продолжал Назым, — все мы всегда рады гостям, даже чересчур. За это я и советских людей люблю. Правда, приходится отрывать время от работы. Но теряешь одно — находишь другое... Очень рад тебе, брат мой, очень люблю японцев.

На журнальном столике, за который пригласил нас сесть хозяин, желтели бананы — целая груда в прозрачной стеклянной вазе.

— Ешьте бананы, прошу! — сказал Назым, и я машинально вслед за ним потянулся к вазе.

Поэт живо интересовался новостями о Японии, о ее культуре. Он очень любил японскую живопись и говорил, что в Турции прочел много французских книг о японском искусстве. Как-то ему попалась книжка о дружбе между турками и японцами. В ней описывался

исторический факт: во время тайфуна турецкое судно потерпело крушение у берегов Японии, экипаж был спасен самоотверженными японцами.

— С тех пор я и полюбил японцев! — закончил свой рассказ Назым.

Поэт увлеченно говорил о новом своем произведении — книге «Романтика». Я спросил, что он думает об извечной проблеме соотношения формы и содержания.

— Форма — это восемьдесят процентов успеха, — ответил Назым Хикмет. — Думаю, каждый писатель так считает, но не каждому форма удастся. Я не знаю, как воспримут «Романтику» читатели. Это — необычное произведение. В нем как бы несколько слоев, соединенных искусственно по воле автора. Сталкиваются герои разных эпох, разных стран. Боюсь, форма романа вызовет придирки критиков, но я пишу так, как мыслю и чувствую.

— К чему должен прежде всего стремиться поэт?

— К тому, чтобы быть современным.

Назым Хикмет развил свою мысль, но, пожалуй, еще лучше, образнее он сказал о том же несколько месяцев спустя в музее Маяковского: «По-моему, один из критериев современности поэзии связан с тем, можно ли ее хорошо и просто перевести. Если она, потерявшая свой внешний блеск, обнаженная, лишенная национального звучания, переведенная на другой язык, все же доходит до вас, значит, она современна... Быть современным надо не только по форме, но и по содержанию...»

Когда речь зашла о Хиросиме и я сказал, что готовлю сборник современной японской поэзии — «Песни Хиросимы», Назым Хикмет горячо поддержал идею создания такой книги и даже сказал, что с удовольствием напишет к ней предисловие, что для такого благородного дела, как борьба за спасение

мирных Хиросим на Земле, у него всегда найдется время.

Мы расстались с поэтом, а позже, как было условлено, я привез ему рукопись моих переводов.

— Звоните! — сказал он мне на прощание. — Скоро сделаю.

Но замысел Назыма Хикмета не осуществился. Время шло, мешали болезнь, занятость. Буквально за день до трагического часа он сказал, что все в порядке, что он должен быть по делам в издательстве и «непременно принесет рукопись, которую закончит сегодня». На следующий день я позвонил в «Художественную литературу» моему редактору Геннадию Борисовичу Ярославцеву — насчет предисловия.

— Как, разве ты еще не знаешь?! — воскликнул он в замешательстве. — Назым Хикмет вчера умер...

Известие было столь неожиданным, что я машинально повесил трубку.

С горечью, чувством невосполнимой утраты восприняли известие о кончине поэта его японские друзья. Сердце Накамото Нобуюки разрывалось на части, когда он писал о друге, о старшем брате: «„Брат мой! Здоров ли ты?“ — так обращался ко мне в разговоре по телефону Назым... Голос Назыма звучит и поныне. „Брат мой!..“ Какая горестная весть! Слезы заволакивают глаза. „Братья!“ — он всегда обращался так к людям — с трибуны, по радио, по телевидению, в своих стихах. Братья! Назым перестал дышать...

Брат наш, Назым! Спи спокойно. Мы будем петь за тебя песни, напоенные ароматом розы. Песни, которые ты пропел или еще собирался пропеть. Ты всегда говорил: „Если я петь не буду, я не смогу жить“. Ты живешь и будешь жить в наших песнях, брат!»

Позже я перевел переданное мне вдовой поэта письмо школьниц из Хиросимы. Написанное стихами, оно, казалось, плакало и кричало, — так трудно было поверить японским детям, что их любимого поэта, автора облетевшей Японию песни о «Маленькой мертвой девочке», нет в живых. Ведь это ему прислали они символ здоровья и долголетия — венок из тысячи бумажных журавликов, надеясь, что он исцелит его сердце. Стихи, написанные детьми, — свидетельство того, чем был и остается для людей человек по имени Назым Хикмет:

Вы уснули навеки,

Назым Хикмет...

И уже не держать Вам

пера в руке,

не кричать во весь голос о наболевшем.

Вы уснули навеки...

О, сколько силы и стойкости

черпали мы, девочки из Хиросимы,

читая стихи об одной из нас,

превратившейся в горстку пепла

и незримо просящей подпись поставить...

В центре нашего города

в парке Мира

есть памятник детям, погибшим от атомной бомбы.

Дети всей Хиросимы

помогали строить его, ища поддержки

в ваших стихах.

Вы не видели атомной вспышки,

но отчего

каждое сердце пронзают

строки Ваших стихов,

Вашей песни о мертвом ребенке?

Потому что и Ваше сердце

клокотало от ненависти и гнева,  
как сердце  
каждого жителя Хиросимы и Нагасаки!  
Потому что и Вы жаждали мира!  
...Даже сейчас, столько лет спустя,  
умирают от лучевой болезни.  
Неужели же снова  
наступит кошмар,  
и будут людей убивать,  
и будут слышаться стоны:  
    «Мы не хотим умирать! Не хотим умирать!»  
Нет, не должно повториться  
то, что случилось в прошлом...  
Пока мы живы, будем бороться.  
Пока есть голос, будем кричать.  
Будем писать, пока пальцы сжимают перо.  
Будем делать бумажных журавликов,  
приносящих добро и счастье.  
Будем действовать и призывать!  
Не напрасно Вы жаждали мира, Назым Хикмет!  
Не напрасны страдания  
    бесчисленных жертв  
    Хиросимы и Нагасаки!  
Мы будем взывать,  
мы будем кричать во весь голос,  
мы действовать будем, как Вы,  
бесстрашный борец!  
Дети всей Хиросимы,  
с благодарностью и уважением  
мы склоняем головы перед памятью Вашей,  
любимый поэт,  
и возлагаем у ног, перед Вашим прахом  
тысячу сделанных нами журавликов,  
тысячу птиц, разносящих по свету  
    волю к вечному миру.  
Незабвенный Назым Хикмет!



Мы просим:  
примите, пожалуйста, этот подарок  
от девочек из Хиросимы...

*Дорогому Назыму Хикмету, семье и близким  
покойного от школьников Хиросимы,  
продолжающих бороться за мир, и от  
Хиросимского общества бумажных журавликов.*

*Публикуется в связи с пятилетней  
годовщиной основания Хиросимского общества  
бумажных журавликов.*

*23 июня 1963 г.*

## Журавлиные перья любви

«Не понимаю! Ни единого словечка не понимаю! Что он говорит?.. Вот так и с теми людьми, что были здесь недавно... Вижу только, как шевелятся их губы... Слышу только их голоса... А что говорят — не понимаю!..

Что мне делать?! Что мне делать?!»

Какие горькие, полные отчаяния слова!.. Мне так и кажется, что я вижу ее, маленькую, растерянную, похожую на птицу девушку по имени Цу из японской пьесы «Журавлиные перья».

Еще недавно она была вольной птицей — журавлем, парила в небе легко и свободно. Стрела пронзила ее, и она вынуждена была опуститься на землю. Добрый человек пришел ей на помощь, и в благодарность птица отдала ему самое дорогое, что у нее было, — сердце. Это сердце до сих пор знало только чувство свободы. Любовь, которая вошла в него, сделала птицу человеком, и ей суждено было узнать радости и горести земной жизни. Сначала были только радости. Она жила с возлюбленным Йохо в скромном деревенском домике вдали от города. Варила пищу, играла с детьми. И вдруг все переменялось. Еще в дни счастья Цу выткала для Йохо красивый кусок полотна, но возлюбленный не оставил у себя этот дар сердца Цу — он продал его. Золото показалось ему прекраснее любимой. С тех пор он требовал, чтобы Цу ткала всё новые и новые куски ткани. Цу превращалась ради этого в птицу и вырывала белые перья из своего оперения. В каждую нить она вкладывала частичку своего сердца, в котором было столько любви и нежности!

И вот настал момент, когда она предстала перед своим возлюбленным бледная, растерянная, не

понимающая его языка, не способная постичь его желаний.

Пройдет еще немного времени, и Йохо нарушит слово, данное Цу, — он заглянет в ее рабочую комнату. И тогда из сердца Цу уйдет последняя капля любви. Женщина снова станет птицей...

Что ждет ее впереди? Гибель? Ведь без любви и доверия нет жизни. Цу никогда не вернется к Йохо, как бы он ни звал ее. Так кончается пьеса известного японского драматурга Киносита Дзюндзи, с которым я впервые встретился в 1955 г.

Я услышал об этой пьесе от автора еще до того, как прочитал ее на русском языке в великолепном переводе И. Львовой и В. Марковой (сначала она была опубликована в журнале «Театр», потом вышла отдельной книгой).

В этой трогательной пьесе использованы мотивы японского фольклора. В творчестве многих народов бытуют сюжеты о существе из другого мира, встретившемся с земным человеком и бывшем с ним до той поры, пока этот человек не узнал его подлинного имени. Достаточно вспомнить распространенную легенду о сыне Парсифаля Лоэнгрине.

В японском фольклоре есть легенда о юноше-рыбаке Урасима, полюбившем морскую царевну. Урасима мог бы находиться со своей возлюбленной вечно, если бы исполнил ее завет и не открыл бы волшебный ларчик. Но он не сдержал своего обещания, и жизнь его, как легкое облако, улетучилась из ларчика.

В пьесе «Журавлиные перья» тема доверия, столь необходимого в любви и в жизни, решается необычно. В пьесе Цу покидает своего возлюбленного не потому, что он заглянул к ней в комнату и открыл ее тайну. Конец любви Цу пришел раньше. И не случайный поступок, не легкомысленное любопытство определили ее исход, а

страсть к наживе, слепая и властная, победившая светлую любовь.

Финал пьесы символичен! Цу покидает Йохо. Ей тяжело лететь — у нее почти не осталось перьев, но она все же летит и исчезает за горизонтом. У нее хватило силы порвать с человеком, которого она любила, но который обманул ее...

Пьеса «Журавлиные перья» появилась в период резкого возрастания в Японии интереса к народному творчеству. Собирателем его образцов был профессор Янагида. Тридцать лет жизни отдал он сбору и изучению фольклорного материала. Ему помогало множество энтузиастов, главным образом учителя начальных школ во всех уголках Японии. Издательство «Сансэйдо» предприняло издание тридцати томов произведений народного творчества, и к моменту моей встречи с Киносита Дзюндзи, автором «Журавлиных перьев», вышел в свет тринадцатый том. Налаживалось сотрудничество писателей и фольклористов в изучении памятников народного творчества.

«Собирание фольклора и фольклорные пьесы приветствуются широкими общественными кругами, — удовлетворенно отмечал драматург. — Я намерен продолжать изучение народного творчества. Мое убеждение в важности постоянного изучения фольклора для писателя еще более укрепилось после бесед с советским ученым, профессором В. Сидельниковым, а также после ознакомления с индийским фольклором во время моего пребывания в Индии...»

Для нас, советских читателей, пьеса «Журавлиные перья» представляет двойной интерес. Она знакомит нас с сюжетами японского фольклора, о котором мы так мало знаем, и вместе с тем с современной японской драматургией.

Киносита Дзюндзи сумел сохранить в своей пьесе подлинно народный колорит. Его пьеса несет в себе гуманную идею, воплощенную в художественных образах.

Трудно сказать сразу, что составляет стержень этой небольшой одноактной пьесы. В ней поднято много тем, и все же явственно выделяется одна главная — тема любви к человеку, уважения его достоинства и непримиримой борьбы со всем, что это достоинство унижает: корыстью, продажностью, страстью к наживе.

Удачно решена автором проблема языка пьесы. «В Японии много различных диалектов, — говорил Киносита Дзюндзи, — и мне хотелось бы написать свою пьесу языком, наиболее доступным всем. Я не придерживался токийского говора, который признан литературным языком, но который не всем понятен. Я старался, чтобы мои герои говорили на языке, который содержал бы элементы различных диалектов, и вместе с тем стремился индивидуализировать речь каждого. Так, в отличие от остальных Цу говорит необычным литературным языком. На мой взгляд, это должно подчеркивать, что она существо из другого мира.

Я пытался вызвать ненависть читателей к тем, кто присваивал себе чужой труд, — вот почему мне так хотелось сделать язык этого произведения максимально доступным пониманию народа».

Имя Киносита Дзюндзи — плодовитого драматурга и активного участника движения за мир и афро-азиатскую солидарность — популярно в Японии. Принадлежит он к послевоенному поколению писателей. Родился в 1914 г., а к сорока годам уже создал два с половиной десятка пьес. За исключением исторической драмы, посвященной первым годам периода Мэйдзи (т. е. началу 70-х годов прошлого века), пьесы написаны на современные темы. Одна из них — «Успение лягушки» — имела особенно шумный успех.

Она с триумфом прошла в театрах Токио и Осака. Ее ставили многие самодеятельные драматические кружки. Она издана и в Советском Союзе в переводе И. Львовой и получила одобрителные отзывы прессы.

— Каково содержание пьесы? — спросил я у автора во время его первого визита в Москву (тогда еще у меня не было ни японского, ни тем более русского ее текста). И вот что он ответил:

— В основу сюжета этой сатирической пьесы лег действительный факт, имевший место в послевоенные годы. Бывший японский военнотружущий возвратился в Японию из советского плена. Реакционные члены японского парламента добиваются от него угодных им показаний. Но он отвергает их домогательства и говорит только правду. Реакционеры не прекращают своего нажима и доводят юношу до самоубийства. В пьесе я показал грязную кухню антисоветской, антикоммунистической клеветы.

— Что вы думаете о роли писателя в современном обществе?

— Жизнь современной Японии подтверждает ту непреложную истину, что писатель не может быть в стороне от политики, что его место там, где идет борьба за мир, справедливость и счастье миллионов. Писатель Хироцу Кадзуо выступил в защиту осужденных по так называемому делу Мацукава, опубликовав в журнале «Тюокорон» гневные памфлеты против полицейского произвола.

В подтверждение своих слов Киносита Дзюндзи протягивает мне свежий номер журнала, в котором Хироцу Кадзуо протестует против смертного приговора обвиняемым по «делу Мацукава» и требует оправдания невинно осужденных. Затем продолжает:

— Прогрессивные писатели старшего поколения, такие, как Токунага Сунао и другие, сохранили верность реалистическому методу. В своих произведениях они

отобразили борьбу народа за независимую, демократическую и миролюбивую Японию.

Прогрессивные писатели Японии — активнейшие участники движения сторонников мира. Они ведут борьбу за идейность в литературе, против аполитичности, носителями которой являются сторонники так называемой эголитературы.

Примечательным явлением японской литературной жизни последних лет следует считать приток в среду писателей большого числа рабочих и студентов. На многих заводах и в учебных заведениях существуют литературные кружки, издающие свои сборники. В стихах и рассказах литературной молодежи отражены думы и чаяния простых людей Японии, требующих запрещения атомного оружия, протестующих против иностранных военных баз на территории страны. Большой успех имели сборники, посвященные борьбе жителей рыбацкой деревушки Утинада, вставших на защиту своих земель, которые власти пытались передать в руки военщины.

На пути развития нашей литературы стоят огромные трудности, но мы уверены, что преодолеем их и создадим произведения, в которых бы ставились социальные вопросы, реалистически отображалась жизнь.

Любопытно одно из высказываний Киносита Дзюндзи, которое злободневно звучит и сейчас, хотя я услышал его в период до восстановления дипломатических отношений между СССР и Японией. Оно — как документ, свидетельствующий о подлинных, не подверженных воздействию времени настроениях и чувствах японского народа.

— Вы спрашиваете меня: что я думаю о возможностях культурного обмена между Японией и Советским Союзом? По моему мнению, самым главным

условием для налаживания регулярного и широкого культурного обмена между Японией и Советским Союзом является быстрейшая нормализация отношений между нашими странами. Наиболее эффективным средством культурного обмена могли бы стать взаимные визиты японских и советских деятелей литературы и искусства.

— СССР и Япония — соседи. Что вы думаете о своем ближайшем соседе — Советском Союзе?

— Советский Союз, занятый мирным строительством, достиг невиданных успехов во всех областях жизни. Мы воочию убедились в преимуществах социалистического строя и в лживости пропаганды, распространяемой врагами мира на земле о вашей стране. Мы пользуемся у вас полнейшей свободой: встречаемся и беседуем с кем хотим, фотографируем сколько душе угодно.

В Вене, в Лондоне и Париже — всюду я чувствовал некоторую отчужденность как представитель желтой расы. И только в Советском Союзе нет расовых предрассудков. Это произвело на меня огромное впечатление. Советские люди искренни, приветливы и очень радушны.

...Прошло еще много времени, прежде чем я расстался с Киносита Дзюндзи. Мы сидели в гостиничном номере. Свет не был зажжен, в дыму от выкуренных сигарет едва угадывались очертания мягких кресел и стола, заваленного японскими журналами, фотографиями и книгами, подаренными в Москве. На журнальном столике у подоконника в простом стеклянном стакане пылала красная хризантема, любимый цветок драматурга — символ любви, дружбы и верности, а за окном ярко горели кремлевские звезды.



## **Взлет волны хokusai**

Есть старинная японская сказка. В древности жил бог богатства по имени Дайкоку. Он был весел и беспечен, но однажды разгневал повелителей неба, и те решили сжечь его. Гибель казалась неизбежной, но Дайкоку спасли крысы, самые обыкновенные крысы: они посоветовали ему зарыться в мокрую землю. С тех пор земля стала богатой и плодородной.

Мне довелось увидеть бога Дайкоку. Это произошло в Музее изобразительных искусств им. Пушкина на одной из первых выставок японского искусства в Советском Союзе. Воспроизведенный резцом знаменитого Хokusai, бог мчался во весь опор на огромной, как лошадь, крысе. Толстый, неповоротливый, он держал в левой руке вожжи, а в правой — бочонок, очевидно с сокровищами. Сюжет народной сказки лег в основу одного из тридцати тысяч произведений великого японского художника, жившего на рубеже XVIII–XIX вв.

На небывалую высоту поднял Хokusai японскую гравюру, в области которой работал долгие годы. Его пейзажи получили всемирное признание. Над столом у меня одна из его картин, подарок японских друзей, — точная копия той, что я видел когда-то на выставке. Изумрудная волна с колоссальным вспененным гребнем грозно вздыбилась на фоне белоснежной горы Фудзи. Когда я смотрю на картину, во мне оживает то первое, незабываемое чувство, которое я испытал при знакомстве с оригиналом. Мне тогда показалось, что еще мгновение — и брызги обрушатся с полотна и оросят живые цветы, украшающие залы выставки. Белые, желтые, розовые хризантемы — эти любимые цветы японцев — как бы подчеркивали то бесконечное

уважение и внимание, с которыми советские люди относятся к подлинному искусству другого народа. Волна и хризантема. Это о них писал много веков назад поэт Сугавара:

Те хризантемы белые, что там  
Колеблемы вдали приморским ветерком,  
Всё кажутся глазам  
В осенний день  
Прибрежную волной, а не цветком!  
(Перевод А. Е. Глускиной)

В Японии о таких стихах говорят, что они удивительно напоминают миниатюрные скульптурки из дерева и кости — нэцкэ — тонким, почти ювелирным мастерством. В Киото в маленьких антикварных лавчонках неподалеку от знаменитого храма «Чистой воды» вам предлагают лучшие сувениры — нэцкэ в виде пуговицы или брелка, с помощью которых к поясу можно прикрепить кисет или трубку. Изящные фигурки изображают крестьян и ремесленников, рыбаков и бродячих актеров, сказочных героев и богов. Над изготовлением такой фигурки японский мастер трудится порой несколько месяцев.

Самобытно и неповторимо творчество японского народа, воплощенное в гравюрах лучших художников прошлого — Хокусаи, Утамаро, Хиросигэ, Сяраку и многих других, чье вдохновенное искусство стало достоянием мировой культуры. Подолгу обычно стоят замороженные зрители перед картинами прославленных мастеров, любясь изумительным подбором красок, поразительным умением воссоздавать природу и жизнь людей. «Прекрасная Осама из дома Абура» (Утамаро) и «Летний ливень над рекой Сумида» (из серии «100 знаменитых видов Эдо» Хиросигэ),

деревянная скульптура буддийского божества Фугэн, относящаяся к XII в., многочисленные лакированные изделия и изделия из керамики, эмали и бронзы красноречивее любых слов говорят о таланте японского народа, создавшего эти замечательные образцы искусства.

Главное, что поражает меня (и не только меня) в японском искусстве, — его глубокая поэтичность. Чего стоит, например, восхитительная «Зима» Харунобу! Падают крупные хлопья снега... Снег на ветке черного дерева, на зонтике, который несут две женщины, и лица их кажутся белее самого снега. Гармоничное сочетание черного и белого цветов создает полную иллюзию снегопада. Законченность и четкость рисунка, мягкий лиризм и предельная лаконичность — отличительные черты мастерства Харунобу.

Богатая история японского народа, его сегодняшние трудовые будни, его изобразительное искусство — все вместе это поразительно и притягательно... И нет ничего удивительного в том, что москвичи переполнили зал Центрального Дома работников искусств, когда торжественно отмечалось 450-летие со дня смерти японского художника Сэсю.

Сэсю родился в 1420 г. Тогдашнего правителя Японии Асикага окружали живописцы, которые своими картинами пытались отвлечь мысли повелителя от полной потрясений действительности. Будущему художнику предстояло создать новое направление в изобразительном искусстве, приблизить его к жизни, к природе.

В детстве Сэсю был отправлен в Киото. Народное предание сохранило рассказ о том, как горько плакал тринадцатилетний мальчик, когда его увозили в далекий, неведомый город Киото. По его смуглым щекам катились крупные слезы. Они ручейками стекали на пол, и мальчик размазывал их ногой, рисуя на полу

крошечных мышей. Так и называют до сих пор этот рассказ «Мыши, написанные слезами».

В Киото будущий художник стал священником. Там же он учился рисованию. Одновременно Сэссю усиленно изучал мастерство знаменитых китайских художников, которые оказали значительное влияние на его творчество.

В 1468 г. в составе японского посольства Сэссю уехал в Китай. Через год он вернулся на родину. Слава художника опередила корабль, на котором он возвращался. Правитель Асикага предложил ему стать придворным художником. Но Сэссю отказался, салонная живопись не прельщала его. Он искал новые пути в искусстве, нашел их и уверенно двигался к вершинам своего замечательного мастерства. «При помощи одних только черных и белых красок он успешно передавал объемность и фактуру различных предметов. Деревья, скалы и горы на его картинах объемны. И хотя из его портретной живописи мало что уцелело, те картины, которые дошли до нас вопреки превратностям истории, отличаются высокими художественными качествами — такими же, как и его пейзажи», — пишет японский критик.

Расцвет творчества Сэссю пришелся на последнее двадцатилетие его жизни. В возрасте шестидесяти семи лет он создал самое крупное свое произведение. Это была пейзажная картина длиной в семнадцать метров: величественная панорама Китая — горы, храмы, долины, реки, озера, деревни.

К сожалению, из обширного наследия Сэссю сохранилось лишь десять произведений.

В отличие от подавляющего большинства художников-современников Сэссю всегда подписывал свои картины. Сэссю — это псевдоним, а подлинное имя мастера — Тойо Ода. Оно стало широко известным во многих странах после того, как по инициативе

Всемирного Совета Мира было отмечено 450-летие со дня смерти выдающегося художника, основоположника японской живописи.

От Тойо Ода к богу Дайкоку и волне Хокусаи протянулась незримая, но неразрывная нить национальных традиций, и, восхищаясь шедеврами Хокусаи, мы проникаемся чувством признательности к его великому предшественнику.

## Камикадзэ, ставший марксистом

...Шел последний кровавый год второй мировой войны. Советские войска штурмовали Европу. В Азии рушился «новый порядок», и американские самолеты, ориентируясь на белоснежную красавицу Фудзи, беспрепятственно бомбили японские города. Четверть века спустя поэт-коммунист Кадокура Сатоеи, член «Конгресса поэтов», вспомнит то время в цикле стихов «Песнь о бомбежке Токио»:

И сейчас я вижу тебя во сне.  
И сейчас ты объята огнем.  
И сейчас ты бежишь без оглядки,  
босая, вдоль рухнувших зданий,  
прижимая меня к груди,  
подгоняемая моим криком — «Мамочка!»  
Твои волосы полыхают,  
на спине пляшет пламя...  
Прижимая меня к груди,  
ты бежишь  
сквозь огненный вал...  
И сейчас я вижу, как ногти твои  
вгрызаются в пересохшую землю  
и ты посыпаешь меня  
горячей пылью  
и снова бежишь...  
Огонь лижет твоё лицо.  
Огонь плавит щеки.  
Спасая меня, расплавляешься ты,  
и в последний, предсмертный миг,  
падая,

мертвым телом  
ты прикрываешь меня...

Япония, воевавшая в сорок пятом, и отдаленно не напоминала самонадеянную Японию, уничтожившую в начале войны на Тихом океане почти весь американский флот, сосредоточенный в Пирл-Харборе. Израненная бомбами, истощенная голодом, осажденная и обескровленная страна задыхалась. На фронт забирали буквально со школьной скамьи. Новобранцев ускоренным методом готовили к «священной миссии» камикадзэ: отдать жизнь за «Великую Японскую империю».

«Камикадзэ» значит в переводе «божественный ветер». Воля богов — прародителей императора — направляла карающий меч камикадзэ. Летчики-смертники брали горючего лишь на полет в одну сторону — до цели. Назад они не возвращались.

— В семнадцать лет я стал участником войны. С сорок четвертого. Служил на территории Японии. Я был офицером императорской авиации. Когда кончилась война, мне многое стало ясно. Я понял, что японская армия вела захватническую, агрессивную войну. Я понял, что был обманут, как тысячи и миллионы других. Я познакомился с марксизмом, с трудами Ленина. Стал участвовать в социалистическом движении, мечтал о революции... Для меня началась новая жизнь. Сегодня я всецело принадлежу компартии Японии, — это говорит Дои Дайскэ, не успевший погибнуть во славу Японской империи.

Он сидит напротив меня за длинным столом в одной из комнат иностранной комиссии Союза писателей СССР. Их четверо — посланцев Всеяпонской лиги демократических писателей, созданной в 1965 г. Кто же они — наши гости? Ямамура-сан, например, видный

специалист по творчеству Горького; Накадзата-сан, рабочий по профессии, — автор многих книг; Дои-сан — поэт, вице-президент прогрессивного объединения литераторов «Конгресс поэтов»; Кубота-сан — известный прозаик, руководитель делегации и вице-президент Лиги.

— К сожалению, наша страна еще не социалистическая, — так начал свой рассказ о положении в стране и японской литературе Кубота, — но мы боремся за то, чтобы идеи социализма восторжествовали и в Японии.

Одна из важных проблем, с которой сталкиваются сегодня японские литераторы, отметил Кубота, это проблема массовой коммуникации — порождение научно-технической революции в капиталистическом обществе. Средства воздействия на массы в руках буржуазного пропагандистского аппарата. Взять, например, телевидение. Около двух десятков телевизионных каналов обрушивают на зрителя поток информации — угодной, разумеется, кругам, идеологически противостоящим нам, демократическим писателям. Газеты, журналы, которые должны быть рупором народа, далеко не всегда являются им. И все-таки мы продолжаем борьбу. Есть писатели, которые активно выступают против возрождающегося милитаризма, — Мацумото Сэйтё, Киносита Дзюндзи и другие. В ходе борьбы добиваемся создания единого демократического фронта, которого, к сожалению, пока еще в Японии нет. В нашей писательской организации около тысячи членов и тысяча семьсот кандидатов. Литератор-кандидат, пока ждет приема в члены Лиги, изучает технику писательского мастерства. Что касается творческого метода, то он избирается произвольно. Наиболее передовые писатели, стоящие на позициях защиты интересов рабочего класса, составляют основу нашего творческого объединения.



Печатный орган Лиги — журнал «Минею бунгаку» («Демократическая литература») — издается десяти тысячным тиражом...

Слушая выступление Кубота, я всматриваюсь в лица гостей. Взгляд мой задерживается на Дои Дайскэ. Выглядит он молодо. Черная «водолазка» словно подчеркивает спортивную крепость фигуры. В коротко стриженных волосах сильная проседь. Обаятельная улыбка придает лицу особую привлекательность. Он улыбается, даже когда ведет запись беседы в своем путевом дневнике. Перед ним на столе только что изданная и подаренная гостям составителем К. Рехо «Японская новелла» в красном переплете. Дои Дайскэ раскрыл книгу на оглавлении и аккуратно переписывает фамилии всех двадцати авторов. Видимо, знает русский язык, подумал я, но позже выяснилось лишь алфавит. На мою просьбу рассказать о «Конгрессе поэтов» Дои Дайскэ ответил краткой характеристикой этого поэтического движения, привел некоторые уже известные данные. Но меня интересовали подробности, и мы договорились встретиться в «России», где разместилась японская делегация... Вскоре мы встретились в одном из холлов гостиницы.

Дои Дайскэ — один из руководящих деятелей «Конгресса поэтов». Встреча наша произошла в юбилейный год — ровно десятилетие назад, в 1962 г., родилось это массовое поэтическое движение, во главе которого стоит старейший поэт-коммунист, ветеран пролетарского литературного движения 20-30-х годов Цубои Сигэдзи. Тогда ему было под семьдесят пять, и в японской печати то и дело появлялись материалы, связанные и с юбилеем «Конгресса поэтов» и с предстоящим семидесятипятилетием Цубои. «Конгресс поэтов» насчитывает шестьсот профессиональных литераторов. Выходит журнал того же названия. Движением охвачены две трети всех префектур Японии,

существует свыше шестидесяти местных филиалов. Ведущие представители «Конгресса» — Осима Хиромицу, Кусака Сотокити (блестящий знаток русского языка и исследователь советской литературы), Акимура Хироси, Дзё Сусуму, Катаха Торохэй (второй вице-президент «Конгресса поэтов»).

— Мы едины как объединение поэтов, — говорит Дои-сан, — но в выборе творческого метода каждый свободен. Лозунг нашего движения — «массовизация» поэзии на прогрессивной, демократической основе.

Научившись с годами ценить время, особенно чужое, я шел к Дои Дайскэ с заранее составленным вопросником. Накануне еще раз перелистал подаренные поэтом журналы, просмотрел его сборники. Вопросов накопилось несколько десятков. По мере того как Дои-сан отвечал, я вычеркивал пункт за пунктом в записной книжке. Я знал стихи Дои Дайскэ, его литературно-критические статьи, но ничего не знал о нем как о человеке, не знал и творческой биографии поэта. С его любезной помощью я восполнял пробел...

Бывший камикадзэ окончил юридический факультет Токийского университета. Еще до поступления Дайскэ в высшее учебное заведение в семье обсуждался вопрос, какое ему дать образование. Речь зашла о литературе, но отец с матерью и слышать об этом не хотели. Мужчина должен иметь солидную профессию и твердый заработок. А если стать, например, юристом, то можно попытаться исправить и кое-что в законодательстве. Так вчерашний летчик, кандидат в смертники, стал юристом и проработал три года в одной из страховых компаний.

Разоренная войной, оккупированная, Япония переживала бурные дни классовых битв. Дои не остался безучастным к выступлениям японского пролетариата, не замкнулся в личном, интимном мире. Он стал активистом своего профсоюза, а вскоре и поплатился за

участие в борьбе — его уволили. Но приостановить процесс его перехода на сторону рабочих было уже невозможно. Шесть лет участвовал Дои Дайскэ в профсоюзном движении, и за это время не написал ни одной стихотворной строки. Творчество словно ждало своего часа. Не хватало уверенности в том, что оно нужно людям.

В марте 1962 г. Дои Дайскэ — к этому времени он уже коммунист — направляется с партийным поручением в Иокогаму. Он отчетливо помнит те дни, встречи с иокогамским поэтом Ямада Имадзи, портовым грузчиком, который еще в 1947 г. получил за свое знаменитое стихотворение «Дождь» премию на творческом конкурсе Общества новой японской литературы.

— Там я впервые в жизни написал стихи для плакатов компартии. Это были обычные агитационные плакаты, разъяснявшие политику коммунистов. Тогда же я написал стихотворение «Десять лет спустя» и послал его в газету «Акахата». Вскоре оно было опубликовано. Так началась моя творческая работа.

Критика тепло отнеслась к поэтическому дебюту Дои Дайскэ, отметив, что автор говорит языком, понятным рабочим людям. В 1965 г. выходит первый сборник стихов поэта, «Десять лет спустя», в 1970-м — второй, «Личное послание». Печатаются его острозлободневные критические статьи о современной поэзии, издаются отдельной книгой литературоведческие работы — «Мои записки», продолжают появляться новые стихи.

Одно из лучших стихотворений поэта — «Стойкость». Поводом для его создания послужила трагедия на шахтах Миикэ, где по преступной небрежности владельцев произошел обвал, погибли шахтеры. Несчастные случаи в промышленности Японии не редкость. Запомнилась цифра, которая приводилась

в японской прессе: в 1968 г. на предприятиях Японии в результате несчастных случаев погибло 6260 рабочих. Трагедия на шахтах Миикэ потрясла количеством жертв.

«Стойкость» — реквием жертвам капиталистической эксплуатации. Написанное горячо и взволнованно, стихотворение имело огромный успех сначала у слушателей (поэт читал его на массовых собраниях и вечерах), а затем и у читателей. По выражению Цубои Сигэдзи, слова в нем «налиты кровью».

— Чем объяснить наличие в стихотворении больших прозаических вкраплений? — обращаюсь я к своему собеседнику. — Не свидетельствует ли это о живучести традиций? В древности проза перемежалась стихами, взять хотя бы «Повесть о блистательном принце Гэндзи».

— Вряд ли имеет смысл устанавливать прямую связь с этой традицией... А впрочем, я ведь японец, и связь с той или иной традицией может проявиться подсознательно. Если же всерьез говорить о традиции, то я бы вспомнил классический театр Кабуки. Ритмизованная проза служит своего рода связкой между четырьмя стихотворными частями «Стойкости», повествующими о событиях, разделенных во времени и пространстве...

Была и еще одна причина, по которой Дои Дайскэ ввел в стихи прозу. Стихотворение слишком объемное — надо было облегчить публике его восприятие. Этого требовали напряженная динамика массовых митингов, для которых произведение предназначалось, моментальность реакции публики. Эффективность воздействия стихотворения проверялась на практике. Поэт неоднократно выступал с ним и всякий раз наблюдал за выражением лиц своих многочисленных слушателей. Если он чувствовал, что

какие-то строки воспринимаются равнодушно, он исправлял их, заменял другими, неустанно добиваясь неослабевающего внимания аудитории. В ходе «эксперимента» возникла и идея прозаических вставок, которых сначала не было.

— Что вы скажете о языке этого произведения? Насколько я знаю, он существенно отличается от языка других ваших стихотворений.

— Да, «Стойкость» написана не общепринятым токийским языком. Сделано это специально. Сам я уроженец северо-восточного района страны — Тохоку, из префектуры Ягамата. Герои же мои — шахтеры, рабочие угольных копей в Миикэ. Там, на южном острове Кюсю, свой диалект, который я и использовал. Когда читаешь стихи вслух, содержание в общем и целом схватывают все слушатели. Но, повторяю, оно написано языком рабочих и предназначено для рабочих.

— В предисловии к сборнику «Десять лет спустя» вы пишете, что бывали за границей, но не уточняете, где именно. Не в Москве ли?

— Нет, в Москве я впервые! В предисловии речь идет о другом, — Дои-сан смеется и взмахивает рукой, словно отгоняя воспоминания о чем-то нелепом, а может, и неприятном.

— В сентябре 1964 года я уехал в КНР — преподавать японский язык, а в октябре 1966-го вернулся на родину. В тот год в Китае началась «культурная революция». В числе других товарищей я подвергся яростным нападкам органов пекинской пропаганды и вынужден был покинуть Китай.

— В рекламном проспекте к другому вашему сборнику — «Личное послание» — поэтесса Мацуда Токико выражает надежду, что и эта книга станет «оружием в идеологической борьбе». Кто ваши противники на литературном фронте, Дои-сан? (Против

кого вы выступаете как поэт и ведущий деятель «Конгресса поэтов»?

— В Японии существует несколько организаций, объединяющих поэтов. Одна из наиболее крупных — Общество современных поэтов, созданное вскоре после второй мировой войны. Общество не имеет четкой политической и эстетической платформы. Членами его являются поэты самых различных взглядов и убеждений, самых различных художественных направлений и методов. Здесь и символисты, и модернисты, и сюрреалисты, поэты прогрессивные и реакционные. Есть и такие, которые пытаются отображать действительность, руководствуясь принципами социалистического реализма. Я тоже член Общества современных поэтов. Как внутри этого объединения, так и вне его мы, поэты с пролетарским, коммунистическим мировоззрением, сражаемся с реакционерами в литературе и искусстве. Это прежде всего литераторы, выступающие против создания в стране единого демократического фронта, против единства прогрессивных сил. Мы боремся с троцкистами и троцкизмом, которым заражена значительная часть студенческой молодежи. Мы развенчиваем произведения, поддерживающие троцкизм, проповедующие антипролетарскую идеологию, наносящую вред нашему делу. Есть у нас и другие противники. В их числе некоторые поэты, сыгравшие в свое время видную роль в истории японской демократической поэзии, но впоследствии отказавшиеся по тем или иным причинам от целей, которых добиваемся мы, поэты-коммунисты...

В Японии много литературных премий. Существует и премия «Конгресса поэтов». Она учреждена в 1968 г. и присуждается ежегодно. При редакции журнала «Конгресс поэтов» создано жюри, которое оценивает произведения, присылаемые на конкурс. При этом не

обязательно, чтобы стихи были опубликованы. В жюри из восьми человек входят в основном руководящие деятели движения (в их числе Цубои Сигэдзи и Дои Дайскэ).

— Не назовете ли вы, Дои-сан, имена наиболее перспективных, на ваш взгляд, молодых поэтов?

— Цубуку Кодзи... Куро Тэцутаро, рабочий... Макураги Иппэй, железнодорожник... Савада Тосико... Синсё Сэй — кореец по происхождению, он получил премию в один год с Макураги...

Дои Дайскэ называет цифру участников конкурсов — тысяча человек. И каждый присылает по три стихотворения (это определено условиями конкурса). Три тысячи стихотворений на восемь членов жюри!

— А кто входит в «Конгресс поэтов»?

— Да кто угодно! Профессионалы, любители. Есть и такие, что совсем не умеют писать, но зато очень любят поэзию.

— Не создает ли подобная практика приема в члены «Конгресса поэтов» какие-либо трудности?

— Да, трудностей у нас немало. Если говорить откровенно, основную опасность для творчества, — разумеется, не для организации — представляет дилетантство. Понижается уровень поэзии в целом. Мы с Цубои Сигэдзи много думаем над тем, как решить эту проблему. Известно, что в японской поэзии XX века широко распространился свободный стих. Однако я бы сказал, что сфера его распространения ограничивается в основном кругом интеллигенции. Задача нашего движения состоит в том, чтобы сделать современную поэзию верлибра подлинно массовой, чтобы читали ее так же широко, как поэзию Исикава Такубоку.

То, о чем говорил Дои Дайскэ, было мне хорошо знакомо. Много лет назад, когда Дои Дайскэ еще не писал стихов (он приобщился к поэзии в тридцать пять

лет), мне довелось беседовать с японскими литераторами, приглашенными в Москву Союзом писателей СССР. Их было трое — Абэ Томодзи, Таками Дзюн, Аоно Суэкити...

— Вес и влияние прогрессивной литературы в современной Японии неуклонно растут, — говорил тогда председатель литературной секции Общества литераторов и член Японской академии изящных искусств Аоно Суэкити, — она расширяет круг своих читателей. Появляются новые имена, набирается сил новое поколение демократических писателей.

— А каково положение в современной японской поэзии? — спросил я.

— Знаете, я не поэт и не исследователь поэзии, — сказал Аоно Суэкити, — отмечу только, что, как правило, стихи пишутся таким трудным языком, который порою малопонятен даже нам, японцам.

Таками Дзюн, хранивший молчание, утвердительно кивнул головой.

— Видимо, речь идет о модернистской поэзии? — уточнил я.

И снова Таками Дзюн кивнул в знак согласия.

Я знал, что Таками Дзюн еще до войны прославился как автор романов «Прощайте, старые друзья!», «Под какими звездами?», «Здесь, в глубине моей груди...», что после войны он создал роман «Богов тошнит». Но: я знал также, что Таками Дзюн пишет стихи, и его молчаливое согласие было красноречивее слов. (В середине 60-х годов Таками Дзюн выпустил отмеченный посмертно высшей литературной премией сборник «Из бездны смерти». В него вошли стихи, которые поэт создал, будучи безнадежно больным, прикованным к постели, за два с половиной последних года своей жизни. Позже была учреждена литературная премия имени Таками Дзюна.)



— Что касается современной поэзии, то на этот вопрос отвечу я, — подключился к беседе Абэ Томодзи, автор многих произведений, принесших ему широкую популярность, один из тогдашних руководителей Общества литераторов. — В Японии нет недостатка в самых различных поэтических школах и направлениях. Но мы выделяем три основных течения: традиционно-лирическое; течение, объединяющее поэтов, тяготеющих к модернизму, сюрреализму, и демократическое, прогрессивное. Любопытно, что среди молодых японских поэтов есть и такие, которые отдают предпочтение формализму, но в свои произведения вкладывают прогрессивное содержание...

С тех пор прошло немало лет, скончались Таками Дзюн и Аоно Суэкити, появились новые прозаики и поэты, унаследовавшие от старшего поколения литераторов не только талант, но и примерно то же распределение творческих сил по идейно-эстетическим направлениям. Дои Дайскэ — заявивший о себе в 60-е годы представитель прогрессивной, демократической поэзии — поэт, бесспорно одаренный и, думается, с большим творческим будущим.

— Свою задачу художника слова я вижу в том, чтобы писать простым, доступным языком.

— Но такую цель преследовали и Такубоку, и зачинатель верлибра Кавадзи Рюко?

— Безусловно, это задача всей демократической литературы, и в этом смысле мы, современные поэты, — наследники лучших традиций демократической поэзии прошлого. Замечу, однако, что содержание понятия «демократическая» (поэзия или литература) менялось со сменой исторических эпох. В настоящее время лично я понимаю термин «демократия» по-марксистски. Образец для меня — Маяковский. Я тоже пишу пропагандистские стихи. Их можно назвать газетными, публицистическими, стихами-откликами — как угодно.

Работа эта очень нелегкая. Маяковский явил блестящий пример соединения поэзии и политики. Я стремлюсь к тому же.

— Последний вопрос, Дои-сан... Ваше стихотворение «Токийский Первомай» манерой письма очень напоминает произведения Маяковского. Случайно ли это?

— Нет-нет, совсем не случайно! «Токийский Первомай» создан под влиянием Маяковского. У нас с ним одно мировоззрение. Я всецело разделяю пафос его строк, в которых он сказал как бы и от моего имени, и от имени многих моих товарищей по перу о «ста томах» «партийных книжек», которые можно предъявить «как большевистский партбилет»!

## «Мир изменился!»

...Их было около двадцати — известных писателей, композиторов, художников, артистов, скульпторов, приглашенных в нашу страну Советским комитетом защиты мира. Все вместе они составляли делегацию японского Комитета солидарности стран Азии.

— Позвольте выразить горячую благодарность за встречу, которую нам здесь оказали... Даже в моменты наибольшей напряженности в отношениях между СССР и Японией мы жадно читали ваши книги, с любовью переводили на японский язык Горького, Чехова, Достоевского, современных советских писателей... Большинство из нас — деятели искусства, и мы хотим вместе с вами объединить наши усилия в борьбе за сохранение мира...

Последние слова оратора потонули в аплодисментах. С его лица еще не успела сойти серьезность, а глаза уже улыбались, полностью преобразив его. Кто-то пошутил, что московское солнце растопило сердце писателя, сведя на нет все усилия буржуазной пропаганды.

В те годы — начиная с середины пятидесятых — трудно, но последовательно, шаг за шагом, восстанавливалось взаимное доверие народов-соседей. Друзья от всей души содействовали намечавшимся сдвигам. Но были и недоброжелатели, стремившиеся повернуть назад, воскресить недоверие и вражду.

Я знал, что оратор — глава делегации, популярный писатель. Мне предстояло взять у него обстоятельное интервью для «Литературной газеты».

Исикава Тацудзо, однофамилец знаменитого Исикава Такубоку, радушно принял меня на следующий день в гостинице «Ленинградская» и был так любезен,

что я долго потом терзался запоздалыми угрызениями совести: не замучил ли я его расспросами. Многие из того, о чем говорилось тогда, не утратило актуальности и помогает понять эволюцию взглядов писателя, тягу японской интеллигенции к переменам...

Исикава Тацудзо — фигура сложная и противоречивая. Первым из литераторов он был удостоен в 1935 г. высшей литературной премии Акутагава Рюноскэ. Нельзя не подивиться счастливой случайности: премия подоспела в тот момент, когда Исикава мучительно решал вопрос — быть или не быть писателем? И не лучше ли стать крестьянином — земля, по крайней мере, прокормит? Тяжелый момент миновал. Случай, которому писатель обязан своему таланту, сохранил его не только для японской, но и, пожалуй, для мировой литературы.

Название романа, отмеченного премией, труднопереводимо и, как сказал сам Исикава, сложно даже для понимания японского читателя. Смысл его можно передать словами «дети императора» или «божественные дети». Позднее в русском литературоведении закрепилось название «Обездоленные». Согласно древней легенде, император произошел от бога, и, стало быть, подданные — дети его — также ведут начало от бога. Апеллируя к суровой правде жизни, роман опровергал бытовавшую веками легенду, послужившую истоком официозной точки зрения.

Страшный голод довел до отчаяния японских крестьян, около тысячи человек решило покинуть родные места и искать счастья на чужбине. Корабль с переселенцами взял курс на Бразилию. С глубоким реализмом и тонким знанием жизни описал Исикава Тацудзо душевные переживания своих соотечественников, «потомков богов», которым нет места в Японии.

Писатель-гуманист, хорошо знающий жизнь маленького человека, его заботы и чаяния, по иронии судьбы мобилизован был воспевать варварские доблести императорской армии в оккупированных районах Китая. С началом агрессии против Китая в 1937 г. японские писатели стали направляться на фронт в качестве военных корреспондентов.

«Так называемый процветающий империализм распространяется, как пожар в степи. Все государства мира в страхе лежат у его ног и должны поклоняться ему и восхвалять его». Исикава, наверное, знал эти слова из памфлета Котоку «Империализм — чудовище XX века». И это чудовище должен был воспевать военный корреспондент Исикава. Не будучи революционно настроенным, он не мог, однако, изменить долгу писателя-гуманиста, не мог не видеть зверских расправ захватчиков над мирным китайским населением, не слышать стонов умирающих детей и стариков.

Кровавые события в районе Нанкина легли в основу романа Исикава «Живые солдаты». Гуманистический пафос резко выделил произведение из массы стереотипного ура-патриотического чтива. Не удивительно, что роман, изданный в 1938 г., тотчас был повсеместно запрещен. Автора привлекли к судебной ответственности, и вскоре недавний лауреат премии Акутагава очутился в тюрьме.

Нельзя сказать, чтобы Исикава был ярким противником войны — он осуждал лишь методы ее ведения. Активным борцом за мир он не стал и после войны. Напротив, он стремится уйти от действительности, найти прибежище в мире надежд и иллюзий. Так появляется его новый роман — «Надежды не утрачены».

Но антивоенная тема вновь врывается в творчество Исикава: в 1951 г. выходит его роман «Тростник под

ветром», продолжающий лучшие традиции «Живых солдат». «От имени их, живых и мертвых, он проклинал тех, кто разжег пламя жестокой и несправедливой войны, — отмечала советская критика в связи с выходом в свет на русском языке очередного романа писателя, — Гнев, ненависть и сарказм слышны в голосе автора, когда он раскрывает страшный мир японской казармы и рисует государственных деятелей Японии, в роковые для родины часы забавлявшихся фантастическими планами доставки нефти с помощью течения Куросиво. Как гуманист Исикава Тацудзо еще никогда не поднимался так высоко, как в этом романе...»

Поражает плодовитость писателя. За двадцать лет литературной деятельности Исикава Тацудзо, по его собственному признанию, создал более пятидесяти художественных произведений, изданных массовым тиражом! Писатель улыбнулся, когда я на всякий случай переспросил его, полагая, что ослышался. Он взял карандаш и вывел в моем блокноте число — 50.

— В Японии пятьдесят романов для писателя не предел, — сказал он. — Бывает и больше.

Ничего не поделаешь, своеобразие национальных литератур порой определяется и такими факторами, как плодовитость писателей или тиражи издаваемых книг.

— Мне довелось побывать в Англии, Югославии, Австрии, Греции. Я беседовал с литераторами этих стран и должен сказать, что нигде книги не издаются такими огромными тиражами, как в Японии, — продолжал Исикава Тацудзо, умолчав, однако, о том, что общий тираж его книг уже достиг пяти миллионов экземпляров.

Об этой цифре, почерпнутой из японской печати, я вспомнил позже, в 1966 г., купив в одном из осакских киосков свежий номер «Курьера ЮНЕСКО» со статьей о «самом популярном писателе в Японии» (если не

вообще в истории литературы, то наверняка за последние сто лет) Нацумэ Сосэки (1867–1916). Всего за одиннадцать лет своей творческой деятельности (подобно Гончарову, Нацумэ Сосэки начал писать поздно, в тридцать восемь лет) он создал одних только романов — четырнадцать! Первое полное собрание его сочинений было выпущено в 1917 г. Со временем популярность писателя росла и соответственно увеличивались тиражи новых изданий. В 1965 г. (к этому времени вышло седьмое издание его сочинений) общий тираж произведений Нацумэ Сосэки достиг шести миллионов четырехсот пятидесяти тысяч экземпляров. Явление уникальное даже для Японии — все возрастающий интерес читателей вызывает творчество писателя, покинувшего мир полвека назад. Как знать, может быть, Исикава Тацудзо побьет рекорд, установленный его великим предшественником?

В творчестве Исикава Тацудзо нерасторжимо слиты два равноценных начала: писательское и журналистское. «Газетными романами-фельетонами» назвала японская критика его произведения «Надежды не утрачены» и «Тростник под ветром». Они печатались из номера в номер в крупнейших газетах страны «Иомиури» и «Майнити». Не только этим романам, но и более позднему — «Стена человеческая», печатавшемуся в газете «Асахи», — свойственны откровенная публицистичность, «газетность».

— В жизни японца книга занимает большое место. У нас огромная читательская аудитория. Народ любит литературу и горячо тянется к ней. Вкусы, конечно, разные. На мой взгляд, простым людям больше нравятся мелодраматические произведения, студенческая молодежь предъявляет к книге более высокие требования... Неизменным спросом пользуются книги русских писателей. В Японии чрезвычайно распространена русская классическая и советская

литература. Японские юноши и девушки увлекаются ею с ранних лет. Что касается меня, то я с семнадцати лет жадно читаю советские книги.

Слова Исикава Тацудзо подтверждают непреходящий интерес японских читателей к русской классике. С полвека назад критик Тогава Сюоцу писал в журнале «Васэда бунгаку»: «Конечно, молодежь Японии восторгается не только русской литературой, но и французской, и итальянской. И все-таки больше всего она любит и почитает литературу России».

Меня интересовали проблема литературного дебюта в Японии, положение начинающих писателей. Отвечая на мои вопросы, Исикава Тацудзо сказал:

— Трудовой день японского писателя чрезвычайно уплотнен — его произведения ждут книжные издательства, редакции газет и журналов. Почти все японские газеты и журналы из номера в номер печатают романы и повести известных мастеров.

Но это вовсе не означает, что войти в нашу литературу легко. Начинающему трудно опубликовать свое произведение, поскольку он еще не известен. Молодые литераторы часто объединяются и на свои скромные средства создают новый журнал, в котором печатают свои вещи. А в качестве рекламы — чтобы журнал привлекал внимание читателя — используют произведения кого-либо из уже известных авторов.

— Каковы особенности японского литературного процесса в послевоенный период?

— У нас в Японии имеет место дифференциация писателей по возрастному принципу. Писатели старшего поколения занимаются в основном публицистической деятельностью, пишут критические статьи. В своих произведениях они почти не затрагивают социальных проблем, ограничиваясь лишь раскрытием внутреннего мира героев. Писатели младшего поколения — это люди, испытавшие всю



горечь военного поражения, активно противостоящие силам, породившим войну. В их произведениях поднимаются самые животрепещущие темы современности.

Послевоенная литература Японии переживает переходный период. Господствующее мировоззрение, утвердившиеся литературные каноны — все это рухнуло, как карточный домик, когда Япония капитулировала. Писателей захлестнула жажда нового, неизведанного. Однако, порвав со старым, они не сумели полностью заменить его новым. Этим объясняется смешение литературных стилей и форм.

— Какие писательские организации объединяют японских литераторов?

— Ведущая писательская организация Японии — Общество литераторов. Оно насчитывает несколько сот известных писателей. Общество, основанное еще до войны, было распущено военными властями и возродилось в 1946 году. Основная задача организации — защита авторских прав. Японская конституция гарантирует свободу слова и печати. Однако правительство запрещает иногда ту или иную книгу. В таком случае на помощь автору приходит писательская организация, которая всеми доступными ей средствами борется против подобной практики. Можно сказать, что писатели, члены Общества литераторов, — либералы, поскольку они последовательно отстаивают свои права, записанные в конституции.

Другая крупнейшая писательская организация — Пенклуб. Как и Общество литераторов, Пенклуб был запрещен во время войны и возродился после ее окончания. Деятельность этой организации заключается в налаживании и осуществлении культурных связей с другими странами. Несмотря на различия в характере деятельности двух названных

организаций, их членами являются фактически одни и те же писатели. Японский Пенклуб — это филиал Международной писательской организации с центром в Лондоне. Подобные филиалы имеются в Индии, Индонезии, Египте и других странах. Ежегодно созываются международные съезды членов клубов. Очередной съезд намечено провести в Токио. Но мне кажется, что число его участников будет невелико — слишком дорого стоит поездка в Японию, не каждый писатель сможет себе это позволить.

Писательница Мацуока Еко была, кажется, единственной представительницей слабого пола в составе делегации, которую возглавлял Исикава Тацудзо. Когда писательница, пораженная увиденным и услышанным, уезжала из героического Ленинграда, она сказала:

— Я почувствовала всем сердцем, что мы должны отдать все свои силы борьбе за мир, за счастье детей.

Вскоре Мацуока Еко стала президентом Пенклуба. А в июне 1970 г., будучи в Осака, я услышал по радио, что г-жа Мацуока Ёко порывает с Пенклубом в знак протеста против усиления контактов руководящих работников этой организации с южнокорейским и тайваньским режимами. Вслед за ней из Пенклуба вышли еще несколько известных писателей, среди них Киносита Дзюндзи и Оэ Кэндзабуро. Последний, правда, мотивировал свой выход тем, что «хочет поддержать молодых прогрессивных писателей в Корее, которые вынуждены были оставить писательский труд». «Это действительно так, — сказал мне Оэ Кэндзабуро, когда мы встретились в 1973 г. в Алма-Ате на V Конференции писателей стран Азии и Африки, — в этом я вижу свой интернациональный долг писателя».

— Что вы ожидаете от поездки в Советский Союз? — задал я очередной вопрос Исикава Тацудзо.

— Нас, японских писателей, — ответил Исикава, — очень интересует жизнь современных советских писателей. Мы хотим знать, как живут наши коллеги в СССР, как и над чем они работают, каковы их творческие планы. А что хотят от нас наши советские коллеги? В каком направлении они намерены изучать японскую литературу, что они ждут от нее? Ответы на эти вопросы мы надеемся получить во время поездки по Советскому Союзу.

...Вскоре после возвращения писателя на родину в литературных кругах Японии разразилась буря, отозвавшаяся далеко за пределами писательской среды. Серия путевых заметок Исикава Тацудзо о Советском Союзе под названием «Мир изменился» повергла в смятение антисоветски настроенные круги. В чем только не обвиняли писателя досужие оппоненты! При всей разнохарактерности нелепостей, сказанных по его адресу, они сходились в главном: не мир изменился, а сам Исикава Тацудзо за два месяца зарубежных странствий.

Сейчас, когда наши отношения с Японией становятся все более дружественными, нелишне вспомнить о тех, кто содействовал этому, когда недоверие и подозрительность были весьма ощутимы в определенных кругах японского общества. Одним из таких людей, несомненно, был Исикава Тацудзо, с которым я встретился в переломный для него год.

Мне довелось читать очерки писателя о Советском Союзе, напечатанные в «Асахи». В них отразился сложный процесс переосмысления им современной действительности. «Мир изменился! — утверждал Исикава Тацудзо, посетив СССР и некоторые другие социалистические страны. — Я видел это собственными глазами!» Не только содержание очерков, но и названия некоторых из них — «Свобода коммунистического лагеря», «Японская свобода» — взбудоражили прессу,

породили дискуссии, вызвали массовый приток читательских писем.

«Коммунистические страны совершенно не желают войны... — писал Исикава. — Угроза коммунизма — это не что иное, как пропагандистский лозунг, придуманный консервативными политическими деятелями капиталистических стран. Подлинный смысл коммунизма в том, что он не подавляет личность, предоставляя всем свободу... Стремление к миру не политический маневр или уловка, а искреннее желание советских людей. Все они в один голос говорят о том, какой ущерб нанесла им война...»

В Советском Союзе, отмечал Исикава, людей не беспокоит завтрашний день. Студенты в период учебы получают от государства стипендию, их не волнует вопрос об устройстве на работу после окончания вуза; трудящиеся обеспечены пенсией на случай потери трудоспособности. В Советском Союзе нет безработицы. В Монголии до революции более девяноста трех процентов населения было неграмотным, а сейчас, через тридцать пять лет после революции, неграмотных менее пяти процентов. Приводя эти данные, Исикава иронически вопрошает: «А существует ли в Японии свобода от болезни и безработицы?»

А как злободневна и сегодня рекомендация Исикава деятелям японской культуры не стремиться отыскивать в других странах одни лишь изъяны, а уметь видеть хорошее и извлекать из этого пользу для Японии!

...Моя вторая встреча с Исикава Тацудзо произошла весной 1959 г. на III Съезде писателей СССР. Писатель ничуть не изменился. Та же манера держаться — непринужденно и просто. Тот же спокойный, преисполненный достоинства голос.

Я не успел его сфотографировать в тот майский, не по-весеннему жаркий день. Но в моем архиве хранится пожелтевшая вырезка из «Литературной газеты» с

выступлением Исикава Тацудзо, писателя, который с  
проницательностью политика и мужеством воина  
заявил на заре японо-советской дружбы: «Мир  
изменился!»

## Под веткой сакуры

„Десятки людей расспрашивали меня: „Кто этот автор?“, „Наверное, он всю жизнь прожил в Японии?“, „Как ему удалось так глубоко изучить духовный склад японского народа?“. И мне доставляет большое удовольствие рассказывать, что автор „Ветки сакуры“ не какой-нибудь специалист-этнограф, и вовсе не книжный червь, и даже не токийский старожил, а просто-напросто толковый советский журналист, человек с внимательным взглядом и великий труженик, умеющий собирать камушек за камушком, чтобы потом творить из них свою великолепную мозаику».

Приведенный абзац взят мною из послесловия Юрия Жукова к «Ветке сакуры». Еще в период ЭКСПО-70 сотрудники Советского павильона зачитывали до дыр свежие номера «Нового мира» — только и разговоров было что о «Ветке сакуры». Огромный интерес к этой книге вызвал ее второе рождение... на японской земле: вышли почти одновременно сразу три перевода. Лучшим, по единодушному мнению критики, оказался перевод Исигуро Хироси.

Мне часто задавали вопрос, услышав, что «Ветка сакуры» переведена на японский: «Что за человек — переводчик?» Вот я и хочу ответить...

Скульптурный памятник в Японии — редкость. Даже в Токио лишь кое-где высятся монументальные фигуры то полководца, то государственного деятеля. Полководца я видел на территории императорского дворца, он гордо восседал на лошади в малолюдном уголке дворцового парка, обнесенный оградой. А вот мимо другого — с усами, во фраке, во весь рост, правая рука оперлась о колонну — я проходил

ежедневно, направляясь из гостиницы «Фермонт» в Коракуэн — увеселительный центр, где была расположена выставка «Советская социалистическая Сибирь» (она действовала в 1973–1974 гг.). Не раз я спрашивал у прохожих или знакомых японцев, кто такой «виконт Синагава Ядзиро», живший, видимо, до войны (ведь статья 14-я послевоенной конституции Японии гласит: «Пэрство и другие аристократические институты не признаются»). Как ни странно, никто этого не знал, хотя памятник и стоял на оживленном проспекте.

Гостиницу от массивных стен обители императора отделял широкий, заполненный водой ров. Весной по глади зеленоватой воды засновали прогулочные лодки — открылась лодочная станция. Два-три лебедя величаво совершали рейсы от берега к берегу. Крутые склоны покрылись зеленью, а вдоль аллеи параллельно рву, сплетаясь кронами, ожили вишневые деревья. Как точно подмечено у Всеволода Овчинникова: «Весна не приносит с собой на Японские острова того борения стихий, когда реки взламывают ледяные оковы и талые воды превращают равнины в безбрежное море. Долгожданная пора пробуждения природы начинается здесь внезапной и буйной вспышкой цветения вишни».

Мне сказали, что именно здесь, на пути от гостиницы до храма Ясукуни, самый лучший сорт вишневых деревьев.

Сакура — национальный «цветок» Японии, но «на местах» оспаривают свой, местно-патриотический приоритет. В префектуре Яманаси славится «фудзидзакура». В Киото, в живописном парке Маруяма и на территории храма Хэйан, ласкает взор «плакучая вишня» — «сидарэдзакура». А в древнем городе Нара гордость округа — «махровая вишня» — «яэдзакура». Но прекрасней, чем сакура в Токио, кажется, вишни нет.

И называется она «сомэйёсино». «Сомэй» — старинное наименование нынешнего токийского района Сугамо, «Ёсино» — название местности в Кансай, издавна прославленной красотой вишневых деревьев. Слово «ёсино» стало синонимом цветения сакуры. И когда говорят «ёсино-ми» — это значит «любование вишней», и, конечно, самой красивой.

Японцы, молодые и старые, в нарядных кимоно медленно прогуливались, наслаждаясь бледно-розовым снегом расцветшей сакуры. По вечерам мощный прожектор прорезал сумерки, вырывая из черноты на той, императорской, стороне роскошное дерево, спустившееся к самой воде. В семьдесят четвертом сакура расцвела в начале апреля — день в день, как было предсказано за две недели до того в газетах, и уже через трое суток асфальт усеяли опавшие лепестки. Их становилось все больше и больше, а когда разгулялся ветер, вода во рву исчезла — вместо нее розовело ажурное покрывало из тысяч и тысяч лепестков! Специальные лодочники сачками вылавливали лепестки, очищая поверхность. «Ее розовые соцветия волнуют и восхищают японцев не только своим множеством, но и своей недолговечностью, — писал В. Овчинников. — Лепестки сакуры не знают увядания. Весело кружась, они летят к земле от легчайшего дуновения ветра. Они предпочитают опасть еще совсем свежими, чем хоть сколько-нибудь поступиться своей красотой».

Четыре времени года я прошагал мимо этой воды, вдоль вишневых деревьев и пышных кустарников. Видел снег едва ли не по колено, и проливные дожди, и азалию, цветущую вдоль склона даже в метель и вьюгу. А сейчас тепло по-весеннему, все-таки весна, хотя весна семьдесят четвертого года холодная и запоздалая. В моем портфеле «Ветка сакуры» на японском, с автографом переводчика...



Нет, Исигуро Хироси — непрофессиональный литератор. Литературный труд — лишь часть его практической работы с русским языком. И все же писательским талантом он наделен несомненно. Успех его версии «Ветки сакуры» — очевидное тому доказательство. Мне довелось встречаться с ним, более того — каждодневно работать в администрации выставки. Я сразу почувствовал незаурядность этого человека с орлиным носом, длинной густой шевелюрой и живыми, пронизательными глазами, готовыми в любой момент засветиться огоньками юмора. В дни работы выставки ему исполнилось пятьдесят шесть лет и в «Майнити» появился его портрет с краткой биографической справкой.

Отец Исигуро участвовал в русско-японской войне, а потом поселился в северо-восточном Китае. Там и родился будущий переводчик. Он окончил Харбинский университет, работал в управлении Маньчжурской железной дороги. Пришлось ему участвовать и в провокационной вылазке японских милитаристов на реке Халхин-Гол. Правда, он был тогда, по его словам, «всего лишь солдатом второго класса, обозником, подносил грузы». Затем — годы сибирского плена, возвращение на родину и работа, работа, работа... Он был то антрепренером, то переводчиком.

Исигуро Хироси первым познакомил соотечественников с современным джазом, с советским балетом, с Московским цирком. До сих пор сожалеет, что гастроли Ленинградского балета в 1960 г. оказались для него как предпринимателя убыточными: всю неделю продолжались демонстрации против японо-американского договора безопасности — концертные залы и театры пустовали...

— Позже я работал с Кио, — вспоминает Исигуро. — Я знал все его секреты! До Кио японцы были в общем-то равнодушны к иллюзиону, Кио сумел растопить это

равнодушие. Фокусы стали и у нас популярным жанром... Первым, кого я пригласил в Японию, был Игорь Безродный. Не раз мне приходилось иметь дело с вашим послом Федоренко. Он большой знаток китайского языка и китайской литературы. Возможно, помнит меня...

...В узеньком переулке, в двух шагах от станции Суйдобаси, прижался к земле одноэтажный деревянный «Сельский староста» (по-японски название звучит короче — «Сёя») — небольшой, но вместительный ресторанчик, выдержанный в стиле феодальных традиций. Интерьер, ассортимент блюд воскрешают в памяти посетителей атмосферу последних лет династии Токугава. Сидят, конечно, на полу, на циновках или подушечках, за длинными деревянными столами. Зал кажется просторным, хотя и заполнен народом: ощущение пространства создают стропила и опоры, поддерживающие крышу, которая кажется висящей где-то очень высоко. Именно таким, как мне довелось слышать, был внутренний вид помещичьих домов в поздний период эпохи Эдо, т. е. накануне буржуазной революции Мэйдзи, вернувшей в 1868 г. власть императору.

Напротив меня сидит Исигуро Хироси. Чуть сзади, за другим столиком — сотрудники его отдела: переводчики Харада, Араи, Номура, еще какие-то девушки и юноши.

Мой собеседник откровенно наслаждается ароматом старины, царящим в «Сёя». Он — современный японец, но родом из дворян.

— Предки мои, — рассказывает он, — когда-то владели чуть ли не всей префектурой Акита на северо-востоке Японии. После революции Мэйдзи феодальные привилегии кончились и семья разорилась. Большую часть земли отдали крестьянам. Себе оставили лес и горы. За счет этого и живут по сей день. Феодальные

пережитки! Местные жители по старинке почитают наш род. Особенно, конечно, дядю моего, ему восемьдесят три года. Очень любопытная личность! Вроде вашего графа Шереметева. После капитуляции Японии дядя заявил, что он коммунист. Правда, в коммунистах он проходил года два, но все же считается прогрессивным человеком. На свои средства создает школы, ясли, покровительствует музам. Такие люди — редкость! Он тоже Исигуро. Когда я приезжаю в Акита, меня встречает «весь город» как «почетного сына», а я ведь пролетарий, у меня нет земли... Ну вот, кажется, несут мое любимое блюдо! Кто не знает «додзё», тот не знает Японии! Подлинно народное кушанье!

Официант зажигает круглую газовую плиту, вмонтированную в наш стол, и ставит на огонь сковородку с двумя ручками по бокам, скорее похожую на кастрюльку. В бобовом масле с мелко нарезанным луком закипают, поджариваясь, рыбешки — то ли вьюны, то ли похожие на вьюнов. Слово «додзё» означает буквально «вьюн узкохвостый». Но, может, в данном случае под «додзё» понимается нечто другое? Я спрашиваю и слышу в ответ по-русски:

— Мы в народе называем ее земляной рыбой. Ведь она водится на заливных рисовых полях, в земляной жиже. Говорят, что рыбки эти улучшают структуру почвы. Кстати, здесь можно заказать любое блюдо, какое только существует в Японии...

— А сакэ? Тоже любое?

— Кроме «Московской» и «Столичной»!

Раз уж зашла речь о сакэ, я не преминул уточнить кое-какие детали, внести коррективы в свои записи...

Лет десять хранится у меня сувенир о посещении Никко — бочонок из-под сакэ. На фоне пышных хризантем высотой в человеческий рост, словно стороживших вход, высилась гостиница «Каная» — лучшее, что могло предложить Олимпийской сборной из

СССР красивейшее место Японии — Никко. Мне повезло увидеть октябрь в горах, пламенеющих алой листвою кленов. Судьба свела меня с Судзуки Масао, японским спортсменом, восемь лет удерживавшим звание чемпиона страны по марафонскому бегу. Он и подарил мне сакадару — тот самый бочонок литра на три. Слово «сакадару» — производное от «сакэ» и «тару» (бочонок).

В старину, когда еще не было бутылок, сакэ хранили в огромных бочках, затянутых сухим травянистым корсетом типа тонкой циновки. Внизу торчала затычка. Делались бочки из легчайшего хиноки — японского кипарисовика. Нагромождение гигантских сакадару — неотъемлемая деталь храмовых комплексов. Ни одно празднество не обходится без декоративных бочек. Особенно поразителен их вид на острове Миядзима под Хиросимой. Во время отлива обнажаются опоры красных ворот, ведущих к храму, перед которым, как высоченный бруствер, желтеют ряды сакадару.

Алкогольные напитки известны в Японии с доисторических времен. В мифах и легендах они характеризуются недвусмысленно: любимый мужской напиток. Утверждают, что впервые (и к тому же чисто случайно) сакэ получили из риса еще две тысячи лет назад. Обычное сакэ — градусов восемнадцать-двадцать. Но бывает и крепче. Художник Маки — почетный член бразильской Академии художеств — потчевал меня сакэ, привезенным с Окинавы: крепость любимого напитка тамошних мужчин достигает... шестидесяти градусов! Но такое сакэ пьют в редких случаях.

«Повседневное» сакэ оценивается с точки зрения гармоничности сочетания так называемых пяти вкусовых качеств — сладости, кислоты, остроты, терпкости, горечи. Различаются два основных типа сакэ — сладкое и острое (амакути и каракути).

Существуют еще три разновидности: токкю (особое, или люкс), иккю (первоклассное) и никю (второклассное). Любители «мужского напитка» считают, что его вкус и качество больше зависят от воды, чем от риса. «Святая вода» в Нада, близ Кобэ, славится по всей стране, и, возможно, поэтому там расположен один из крупнейших в Японии центров по производству сакэ.

Теперь сакэ продается и в виниловых мешочках, и в бутылках — вместимостью от ста граммов до нескольких литров. Названия одно другого поэтичнее: «Сироюки» («Белый снег»), «Суйсин» («Хмельное сердце»). На этикетке моего сувенирного сакадару тушью начертано: «Камо-но цуру» («Журавль из Камо»), Камо — местечко в префектуре Хиросима.

Пьют сакэ (вернее, не пьют, а потягивают) рюмочками с наперсток. Приходилось слышать не раз, что «в стельку» пьяным японец становится, выпив литр сакэ. Проверить это не удавалось, так как пьяных в нашем понимании я никогда там не видел.

— Пить сакэ приятнее всего подогретым, — говорит Исигуро, наполняя двадцатиграммовые пиалобразные сосудики, и, чуть помедлив, добавляет по-русски: — А совсем лучше — под веткой сакуры!

— Любит ли сакэ молодежь?

Исигуро смеется:

— Она все чаще предпочитает пиво!

Осенью семьдесят третьего года японская ассоциация производителей алкогольных напитков задалась целью выяснить, что пользуется большей популярностью — традиционное сакэ или современное... пиво. Опрос четырех тысяч молодых людей дал неожиданный результат: тридцать девять процентов опрошенных предпочитают пиво и лишь двадцать семь процентов — сакэ. (Любителей виски, например, набралось двадцать пять процентов.)

Жесткие правила регламентируют поведение японца в обществе. Это отмечал и В. Овчинников, писавший, что «в деловом и политическом мире Японии принято решать наиболее сложные вопросы не на заседаниях, а за выпивкой, когда опьянение позволяет людям на время сбрасывать с себя эти путы». Я бы добавил: и в литературном мире...

— В чем, на ваш взгляд, секрет успеха «Ветки сакуры» среди японских читателей? — задаю давно назревший вопрос.

— В Японии сейчас распространился модный жанр — так называемая культурная критика, по-японски — «буммэй-хихё». Так вот «Ветка сакуры» написана в этом жанре. Японцам он нравится. Да и писатель талантливый, не говоря уже о том, что написано о нас, о японцах. Словом, интерес к книге очень большой.

— Я слышал, что есть еще два перевода, но ваш, третий, пресса признала лучшим. На чем основана оценка критики?

— Видите ли, моим коллегам меньше повезло потому, что они придерживаются буквалистских принципов перевода. Но в наши дни такое не проходит. Я убедился в этом на личном опыте — во время работы над «Веткой сакуры». Сначала я перевел кое-что буквально и дал почитать жене и дочке. «Ничего не понятно!» — сказали они. Я отложил сделанный перевод, взял чистые листы бумаги и стал воссоздавать оригинал, отступая от него, но тем самым и приближаясь к нему. Писатель победил во мне переводчика. Работа длилась целый год, и потом появились хорошие рецензии...

За первое издание «Ветки сакуры» Исигуро получил пятьсот тысяч иен, за второе — миллион.

— О, так вы миллионер!

— Ну что вы, это не много. Жизнь в Японии дорогая — инфляция, цены растут постоянно: я получаю

в месяц сто пятьдесят тысяч иен. В моем возрасте и при моем положении (все-таки я начальник отдела) — это маловато. Приходится прирабатывать. Два-три раза в неделю пишу обзоры международной жизни. Читаю «Правду», «Известия»... Советских изданий у меня больше, чем у кого-либо в Японии. За обзоры я получаю тысяч пятьдесят в месяц, а всего имею двести тысяч. Это — минимум для семейного человека моего возраста. Ваша партия сумела добиться прекрасного пенсионного обеспечения для народа. У нас на пенсию рассчитывать не приходится.

— Какие книги о Японии вам запомнились?

— Писали о Японии многие. Пильняк, Эренбург... Но так, как Овчинников, не писал никто. Он сумел тонко подметить своеобразие японского характера. Трудно поверить, что он не говорит по-японски. Кстати сказать, великий наш русист Фтабатэй Симэй, наверно, очень плохо знал разговорный русский, но очень хорошо передавал суть русского характера. Важно по-своему увидеть мир. Тогда ты вправе рассчитывать на успех. И книга вызовет интерес.

— Какими качествами должен обладать писатель?

— Прежде всего, он должен быть патриотом.

— Есть ли у вас собственные произведения?

— Недавно я выпустил небольшую книгу «История русской культуры» по материалам вашего ученого Тихомирова... Меня особенно интересуют Рублев, Феофан Грек, Пугачев, Петр Первый. Моя книжка — первая в Японии в таком роде.

— Что побудило вас участвовать в работе выставки?

— Причин много, и одна из них — сентиментальность... Да, да! Помните, в конце павильона экспонат «Гонза и Соза»?

Еще бы! Там всегда толпились посетители. Даже мамонт, высившийся напротив, не всех любознательных отвлекал от витрины: из-за стекла глядели на вас две

восковые головы почти в натуральную величину. Там же были выставлены и некоторые документы далекой эпохи, в которую жили два первых японца, ступивших на нашу землю.

...То было страшное время «бироновщины». Еще долгих семь лет оставалось править Россией ненавистному немцу Бирону, когда в один из дней лета тысяча семьсот тридцать третьего во дворец императрицы Анны Иоанновны ввели двух заморских гостей. Зело удивлена была государыня, когда перед монаршие очи предстали чужеземцы — черноволосые, с раскосыми глазами, неведомой речью. Не внешний облик их поражал (на Руси, слава богу, изрядно живало инородцев) — судьба их была необычной.

Свирепый тайфун пощадил двоих: купец Соза и десятилетний мальчик Гонза попали на берег — на русскую землю. Потерпевших бедствие встретили гостеприимно, выходили, и сам губернатор Сибири отправил их через несколько лет в далекий Петербург. Японцы приняли православную веру и новые имена. Соза и Гонза стали Кузьмой и Демьяном. Изучив русский, они начали преподавать свой родной язык в открывшейся школе японского языка при Российской Академии наук. В Японии я видел новое издание русско-японского словаря — впервые в России его составил японец Демьян.

— Мне не раз приходилось бывать в СССР, — говорит Исигуро-сан, — и всегда, когда я видел в Ленинградском этнографическом музее восковые изображения Гонзы и Созы, на глаза наворачивались слезы... Полжизни я провел за границей, вдали от родины, и мне понятно чувство тоски, которое испытывали мои соотечественники Гонза и Соза. Я был бы тронут до глубины души, думал я, если бы встретился здесь, в Токио, с двумя моими далекими предшественниками, которые умерли, не осуществив



своей мечты вернуться на землю предков. И я загорелся энтузиазмом...

Закончить рассказ о переводчике «Ветки сакуры» хочу его же заключительными словами из интервью газете «Майнити» перед открытием выставки: «Все старались. Странно, что я один выплыл на поверхность...»

## **Из поэтического дневника**

## ГЭМБАКУ-ТОСИ

*Хиросиму и Нагасаки, ставших жертвами американских атомных бомб, японцы называют «гэмбаку-тоси», что значит «город атомной бомбы».*

Иероглиф — загадочный символ,  
Иероглиф — таинственный сумрак,  
Иероглиф — и пепел, и свиток,  
И стенанье стреноженных суток,  
И хрипенье младенца во чреве,  
И как свечи оплывшие — камни,  
И как черные камни — деревья,  
И зрачки на песке — словно капли...

О сплетенье и были и сказки  
Ярче тысячесолнцевых молний!  
Словно идола с острова Пасхи  
Иероглифы смерти безмолвны.  
Иероглифы траурно тусклы  
И бесстрастны на сером утесе...  
«Город атомной бомбы» — по-русски,  
По-японски — «гэмбаку-тоси».  
Но горят, но кричат, как живые,  
На знаменах, вздымающих небо,  
И печатные, и кружевные  
Иероглифы боли и гнева!

*Хиросима, июль 1967 г.*

## ШИРОКИЙ ОСТРОВ

*В переводе с японского «Хиросима» означает «широкий остров». В центре Хиросимы высится памятник с изображением погибшей от лучевой болезни девочки Садако, сжимающей в руках журавля — символ здоровья и долголетия.*

Хиросима — «широкий остров»...  
Это зданья сгоревшего остова.  
Это тень на стене человека,  
Это скопище тел, кунсткамера.  
Это вера, сраженная намертво,  
В гуманизм двадцатого века.

На широком острове — город.  
На широком острове — горе.  
Но ликует буйная зелень  
Средь омытых дождем расщелин  
Но дымят воскресшие трубы,  
Но целуются снова губы,  
И не видно, не видно пепла —  
В замурованных урнах пепел! —  
И сжимает девочка крепко  
Журавля, плывущего в небе...

Хиросима — всего здесь вдосталь,  
Хиросима — широкий остров.

*Хиросима, июль 1967 г.*

# ФОНТАН ПАМЯТИ ЖЕРТВ АТОМНОЙ БОМБЫ

*Дайте воды! Дайте воды!  
А-а-а!.. Напоите!*

*Хоро Томики*

Над Хиросимой солнце встало,  
Пылая немо и устало.  
Оно едва земли касалось,  
Оно, как рыжий кот, ласкалось,  
А мне казалось, мне казалось,  
Как раскаленными хлыстами  
Его лучи вокруг хлестали  
По спинам, по глазам — нещадно,  
Как в тот навеки страшный день,  
Когда в аду огня и чада  
Весь город превращался в тень..  
«Воды! Воды! А-а-а!» — тень кричала,  
«Воды!» — хрипела одичало,  
«Воды! Воды!» — молили губы,  
«Воды!» — без губ оставшись, зубы...  
«Воды!!.» Тысячеусто пелась  
На все лады «вода», «вода», —  
Урча, рыча, вздуваясь, пенясь, —  
Исчезнувшая навсегда.  
Вода — с улыбкой и любовью,  
Вода — с надеждой и богами,  
Вода — с невысказанной болью,  
Вода — с витыми облаками,

Как та, в реке, за теми грудями  
Ползущих тел в кровавом месиве,  
Холодным синим полумесяцем  
Манящая и недоступная...

Земля от пепла здесь прогоркла,  
Но небеса, как прежде, сини,  
И бьет фонтан — как бил из горла  
Крик умиравшей Хиросимы!

*Хиросима, июль 1967 г.*

## ЯПОНСКАЯ ЗИМА 1974 ГОДА

Необычная сушь, говорят,  
Водопад пересох в Никко,  
И сухие дома горят,  
И в Симидзу зреет клубника.

Нефти нет — тысячи бед.  
Электроэнергии — вето!  
А без света и Гиндзы нет,  
Ну что за Гиндза без света!

Гарь над Токио. Сушь.  
Газеты кричат: «Кризис!»  
У ста миллионов душ  
Дрожь социальных коллизий.

Вчера покончил с собой  
Владелец плавательных бассейнов,  
Неподогретой водой  
Клиентуру вконец рассеяв.

Необычная сушь, говорят?  
Только что это? Пальмы в белом!  
Все цветы, все деревья подряд  
Засыпаны тающим мелом.

Журчит под окном ручей  
В микросаду отеля,  
Обыкновеннейшая из ночей  
Обернулась русской метелью!

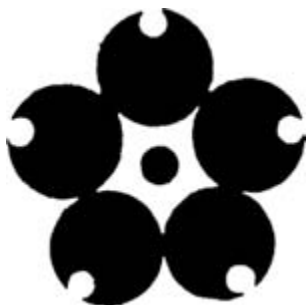
И уже по колено в снегу  
Бредут трамваи Сэндая,

И камелия на берегу  
Цветет, от снега седая...

В сумрак, в нетопленные дома,  
Не постучавшись у входа,  
Ввалилась, как кризис, зима  
Семьдесят четвертого года.

*Токио, февраль 1974 г.*  
АКАДЕМИЯ НАУК СССР  
ИНСТИТУТ ВОСТОКОВЕДЕНИЯ

**А.И. Мамонов**  
**ВСТРЕЧИ НА БЕРЕГАХ ЁДОГАВЫ**



ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА»  
ГЛАВНАЯ РЕДАКЦИЯ ВОСТОЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  
МОСКВА 1975

91 (И5)  
М 22

*РЕДКОЛЛЕГИЯ*



*К. В. Малаховский (председатель), А. Б. Давидсон, Н. Б. Зубков, Г. Г. Котовский, Н. А. Симония*

*ОТВЕТСТВЕННЫЙ РЕДАКТОР Т. П. Григорьева*

**Мамонов А. И.**

**М 22** Встречи на берегах Ёдогавы... М., Главная редакция восточной литературы изд-ва «Наука», 1975. 136 с. («Путешествия по странам Востока»).

В очерках и эссе, собранных в этой книге, отражены впечатления автора от неоднократного пребывания в Японии, в том числе на ЭКСПО-70, от многочисленных встреч с японскими поэтами, писателями, деятелями культуры, происходившими в разное время в Японии и в Москве.

М20901-090 139-75  
013(02)-75  
91(И5)

© Главная редакция восточной литературы  
издательства «Наука», 1975.

Анатолий Иванович Мамонов

**ВСТРЕЧИ НА БЕРЕГАХ ЁДОГАВЫ...**

*Утверждено к печати Институтом востоковедения  
Академии наук СССР*

Редактор *Н. Я. Северина*. Младший редактор *Г. А. Бурова*. Художник *А. В. Озеревская*. Художественный редактор *Э. Л. Эрман*. Технический редактор *М. В. Погоскина*. Корректор *К. Н. Драгунова*.

Сдано в набор 28/XI 1974 г. Подписано к печати 20/III-1975 г. Л-10056. Формат 81X108<sup>1</sup>/<sub>32</sub>. Бум. № 2. Печ. л. 4,25 Усл. печ. л. 7,14. Уч. — изд. л. 7,29. Тираж 15 000 экз. Изд. № 3475. Зак. № 3552. Цена 28 коп.

Главная редакция восточной литературы  
издательства «Наука»

Москва, Центр, Армянский пер., 2

Тип. изд-ва «Коммунар», г. Тула, ул. Ф. Энгельса, 150

---

<b>notes</b>
--------------

## Примечания

# 1

Имена и фамилии даются в книге как принято в Японии: сначала фамилия, потом имя.

*Сэнсэй* — учитель (почтительное обращение к уважаемому человеку).

### 3

*Сан* — почтительная частица, присоединяется к именам.

В район Кансай входят города Осака и Киото с прилегающими префектурами.

**5**

*Таки* — букв.: полевое дерево (яп.).



Бамбуковый меч применяется обычно при фехтовании; в довоенной Японии им пользовались также для пыток политзаключенных.

*Сёги* — японские шахматы.

Стихи Такубоку цитируются в главе в переводах В. Н. Марковой (пятистишия) и А. Е. Глускиной (трехстишия).

Стихи в жанре танка переводились на русский язык не только пятистишиями.